Horror Story



Эдгар Аллан По

СТРАШНЫЕ РАССКАЗЫ

РИПОЛ КЛАССИК

Страшные рассказы
Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Страшные рассказы
Береника
Черный кот
Остров феи
Сердце-изобличитель
Падение дома Эшер
Овальный портрет
Морэлла
Лигейя
Шарль Бодлер. Эдгар По. Его жизнь и произведения
Биография и библиография

Аннотация

Родовое проклятие, кровавое безумие, неизбежный рок и навевающая жуть атмосфера готики, смешались в пугающих рассказах Эдгара Аллана По, виртуозного маэстро ужасов.

Открыв страницы этой книги, вы окажетесь по ту сторону реальности, в мире, полном мрачных и трагичных событий. Здесь вы ступите в проклятый особняк рода Эшер, увидите изнанку болезненной одержимости и услышите о грехах темных душ.

Пронзительным рефреном сквозь филигранные переводы К. Д. Бальмонта, Л. И. Уманец и М. Н. Энгельгардта пронесется роковое «nevermore» и затянет удушающую петлю судьбы героев «Страшных рассказов».

Эдгар Аллан По
Страшные рассказы

Edgar Allan Poe
Scary Stories

© Шигарова Ю. В., перевод на русский язык, 2013
© Липка В. М., перевод на русский язык, 2013
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

* * *

«Всегда ищите книги с большими полями».

Эдгар По, «Маргиналии»

Береника

Disebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.

***Ebn Zaiat*[1][2]**

Несчастье — многообразно. Злополучие земли — многоформенно. Простираясь над гигантским горизонтом, как радуга, оттенки его так же разнородны, как оттенки этой разноцветной арки, и так же отличительны, и так же нераздельно слиты воедино, простираясь над гигантским горизонтом, как радуга! Каким образом из области красоты я заимствовал образ чего-то отталкивающего, символ умиротворения превратил в уподобление печали? Но как в мире нравственных понятий зло является последствием добра, так в действительности из радости рождаются печали. Или воспоминание о благословенном прошлом наполняет пыткой настоящее, или

---

[1] Примечания: 1

Говорили мне сотоварищи, что, если бы я посетил могилу подруги, я несколько облегчил бы свои печали (Ибн-Зайат).

[2] Примечания: 2

Ибн-Зайат (XI в.) — арабский поэт.

муки, терзающие теперь, коренятся в безумных восторгах, которые могли быть.

При крещении мне дано было имя Эгей, своего фамильного имени я не буду упоминать. Но во всей стране нет замка более старинного, чем мои суровые седые родовые чертоги. Наш род был назван расой духовидцев; и такое мнение более чем явственно подтверждалось многими поразительными особенностями — характером родового замка, фресками главной залы, обивкой спальных покоев, резьбой, украшавшей некоторые колонны в фехтовальной зале, но в особенности картинной галереей, состоявшей из произведений старинных мастеров, внешним видом библиотеки и наконец совершенно своеобразным подбором книг.

Воспоминания самых ранних лет связаны в моем уме с этой комнатой и с ее томами, о которых я не хочу говорить подробнее. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но было бы напрасно говорить, что я не жил раньше, что душа моя не имела первичного существования. Вы отрицаете это? Не будем спорить. Будучи убежден сам, я не стараюсь убеждать других. Есть, впрочем, одно воспоминание, которое не может быть устранено, воспоминание о каких-то воздушных

формах, о бестелесных глазах, исполненных значительности, о звуках горестных, но музыкальных; воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неустойчивое, неопределенное; но подобное тени еще и в том смысле, что мне невозможно уйти от него, пока будет светить мой разум, распространяя вокруг меня свой яркий солнечный свет.

В этой комнате я родился. Пробудившись таким образом от долгого сна, выйдя с открытыми глазами из пределов ночи, которая казалась небытием, но не была им, я сразу вступил в область сказочной страны, в чертоги фантазии, в необычайный приют отшельнической мысли и уединенного знания. Удивительно ли, что я глядел вокруг себя жадно ищущими, изумленными глазами, и провел свое детство среди книг, и растратил свою юность в мечтаниях; но удивительно одно — когда годы уходили за годами, когда подкрался знойный полдень моей возмужалости и застал меня все еще сидящим в старинном обиталище моих предков, — удивительно, как сразу в кипучих ключах моей жизни вода превратилась в стоячую, и в характере моих мыслей, даже самых обыкновенных, настала полная и внезапная перемена. Явления действительной жизни каза-

лись мне снами, только снами, а зачарованные мысли, навеянные царством видений, сделались, наоборот, существенным содержанием моей повседневной жизни, больше того, в них и только в них была вся моя жизнь, с ними слилась она в одно целое.

.....

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в моем отцовском замке. Но как различно мы вырастали: я — болезненный и погруженный в меланхолию, она — легкая, веселая и вся озаренная жизнерадостным блеском; она вечно бродила по холмам, я сидел над книгами в своей келье; живя жизнью своего собственного сердца, я душой и телом отдавался самым трудным и напряженным размышлениям, а она беспечально шла по жизненной дороге и не думала, что ей на пути может встретиться тень, не заботилась о том, что часы безмолвно улетали на своих вороновых крыльях. «Береника!» — я произношу ее имя. «Береника!» — и в памяти моей, на седых руинах, возникают тысячи беспокойных мыслей, как цветы, оживленные силою этого звука! О, как ярки очертания ее образа передо мной, точно в ранние дни ее воздушной легкой радости! Красота роскошная и фантастическая! Сильфида

среди кустарников Арнгейма[3]! Наяда среди ее источников! И потом, потом все превращается в тайну, все сменяется ужасом, становится сказкой, которая бы не должна была быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, как самум, обрушилась на ее существо; и даже пока я смотрел на нее, дух перемены овладевал ею, застилал ее душу, изменял ее привычки и нрав и самым незаметным и страшным образом нарушал даже цельность ее личности! Увы! Бич пришел и ушел! А жертва — что с ней сталось? Я больше не узнавал ее, не узнавал ее больше как Беренику!

Среди целого ряда болезней, причиненных первичным роковым недугом, который произвел такую страшную насильственную перемену во внутреннем и внешнем состоянии Береники, нужно прежде всего упомянуть о самой страшной и упорной. Я разумею эпилептические припадки, нередко кончавшиеся летаргией — летаргией, необыкновенно походившей на полную смерть, причем в большинстве случаев после такого обмирания она приходила в себя резко и внезапно. В то же время моя собственная болезнь — употребляю это наименование, потому что мне было

---

[3] Примечания: 3

Арнгейм — город в Голландии, на правом берегу Рейна, прославившийся живописностью окружающего ландшафта.

сказано, что иного названия не может быть при определении моего состояния, — моя собственная болезнь быстро распространялась, и в конце концов приняла форму мономании, совершенно новую и необычайную, — с каждым часом и с каждой минутой она приобретала новую силу и наконец овладела мной с непостижимой властностью. Эта мономания, как я должен называть ее, состояла в болезненной раздражительности тех способностей духа, которые на языке философском называются вниманием. Более чем вероятно, что меня не поймут; но я боюсь, что мне, пожалуй, будет совершенно невозможно возбудить в уме обыкновенного читателя верное и точное представление о той нервной напряженности интереса, с которой, в моем случае, силы размышления (чтобы избежать языка технического) были поглощены созерцанием даже самых обыкновенных предметов.

По целым часам я размышлял, неутомимо устремивши внимательный взгляд на какое-нибудь ничтожное изречение, помещенное на полях книги, или на символические иероглифы на обложке; в продолжении большей части долгого летнего дня я бывал всецело погружен в созерцание косой тени, падавшей причудливым

узором на пол и на стены; целые ночи я наблюдал за колеблющимся пламенем светильника или за углями, догоравшими в камельке, целые дни напролет я грезил о запахе какого-нибудь цветка; монотонным голосом я повторял какое-нибудь обыкновенное слово до тех пор, пока звук от частого повторения не переставал наконец давать уму какое бы то ни было представление; я утрачивал всякое чувство движения или физического существования, посредством полного телесного покоя, которого я достигал долгим упорством, — таковы были немногие из самых обыкновенных и наименее вредных уклонений моих мыслительных способностей, уклонений, которые, правда, не являются вполне беспримерными, но которые отвергают всякий анализ или объяснение.

Однако да не буду я ложно понят. Неестественное, напряженное, болезненное внимание, возбуждаемое таким образом предметами по своей сущности ничтожными, не должно быть смешиваемо с задумчивостью, общею всем людям, в особенности тем, кто одарен живым воображением. Это внимание не только не являлось, как можно предположить с первого раза, крайним развитием или преувеличением такой способности, но существенно от нее отличалось и имело

свое первичное самостоятельное существование. В одном случае мечтатель, или человек восторженный, будучи заинтересован предметом обыкновенно не ничтожным, незаметно теряет из виду этот предмет и погружается в безбрежность выводов, намеков и внушений, из него проистекающих, так что в конце подобного сна наяву, нередко переполненного чувственным наслаждением, возбудитель, первичная причина, обусловившая мечтательность, исчезает и забывается окончательно. В моем случае первичный предмет постоянно был ничтожным, хотя через посредство моего неестественно возбужденного зрительного воображения он приобретал отраженную и нереальную важность. Выводов было немного, если только были какие-нибудь выводы; и они упорно возвращались к первоначальному предмету, как бы к центру. Размышления никогда не были радостными; и, после того как мечты кончались, первопричина не только не терялась из виду, но возбуждала тот сверхъестественный преувеличенный интерес, который являлся господствующим признаком моей болезни. Словом, силы ума, совершенно своеобразно возбуждавшиеся во мне, были, как я сказал, способностью внимания, а не способностью созерцательного

размышления, как у обыкновенного мечтателя.

Книги в эту пору моей жизни, если и не являлись одной из действительнейших причин, обусловливавших мое нездоровье, принимали, во всяком случае, как это легко понять, большое участие в проявлении отличительных признаков моей болезни, будучи исполнены фантазий и нелогичностей. Я хорошо помню, среди других, трактат благородного итальянца, Целия Секунда Куриона[4], «De Atplitudine Beati Regni Dei»[5]; великое произведение блаженного Августина[6] «Град Божий» и сочинение Тертуллиана[7] «De Carne Christi»[8], где одна парадоксальная мысль: «Mortuus est Dei fi lius; credibile est, quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est»[9] — стоила мне целых недель трудолюбивого

---

[4] Примечания: 4

Курион, Целий Секундус (1503–1569) — итальянский гуманист. Его книга «О величии блаженного Царства Божия» издана в Базеле в 1554 г.

[5] Примечания: 5

«О величии блаженного Царства Божия» (*лат.*).

[6] Примечания: 6

Августин Аврелий, прозванный «Блаженным» (354–430), — христианский богослов и писатель, оказавший влияние на всю догматику католицизма. Его сочинение «О граде Божием» написано около 426 г.

[7] Примечания: 7

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 230) — христианский писатель-богослов. Цитата взята из его книги «О пресуществлении Христа», часть II, гл. 5.

[8] Примечания: 8

«О пресуществлении Христа» (*лат.*).

[9] Примечания: 9

«Умер Сын Божий; достойно веры есть, ибо неприемлемо; и, погребенный, воскрес; достоверно есть, ибо невозможно» (*лат.*).

и бесплодного исследования.

Таким образом, мой разум, терявший свое равновесие только от соприкосновения с предметами незначительными, как бы имел сходство с той океанической скалой, о которой говорит Птолемей[10] Гефестион и которая, оставаясь незыблемой и нечувствительной к людскому неистовству и к еще более бешеной ярости волн и ветров, содрогалась только от прикосновения цветка, называемого Златооком[11]. И для наблюдателя невнимательного может показаться несомненным, что, обусловленная злополучной болезнью, перемена во внутреннем состоянии Береники должна была доставлять мне много предлогов для проявления того напряженного и неестественного внимания, природу которого я объяснил с некоторым затруднением; однако это совсем не так. В промежутки просветления ее несчастие действительно огорчало меня, и я, принимая глубоко к сердцу это полное разрушение ее нежного, прекрасного существа, не мог не размышлять горестно и неоднократно

---

[10] Примечания: 10

Птолемей (I в.) — александрийский математик, астроном и географ.

[11] Примечания: 11

Златоок, или асфодель, — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В Античности считался цветком смерти.

о тех удивительных средствах, с помощью которых так внезапно произошла такая странная насильственная перемена. Но эти размышления отнюдь не соприкасались с основным свойством моего недуга и отличались таким же характером, каким они отличались бы при подобных обстоятельствах у всякого другого. Верный своему собственному характеру, мой недуг упивался менее важными, но более поразительными изменениями, совершавшимися в физическом существе Береники, — особенным и самым ужасающим искажением ее личного тождества.

В золотые дни ее несравненной красоты я никогда не любил ее, никогда. В странной аномалии моего существования чувства никогда не проистекали у меня из сердца, страсти всегда возникали в моем уме. В белесоватых сумерках раннего утра — среди переплетенных теней полуденного леса и в ночном безмолвии моей библиотеки — она мелькала пред моими глазами, и я видел ее не как Беренику, которая живет и дышит, но как Беренику сновидения; не как существо земли, существо земное, но как отвлечение такого существа; не как предмет преклонения, но как предмет исследования; не как источник любви, но как тему для самых отвлеченных, хотя

и бессвязных, умозрений. А теперь — теперь я содрогался в ее присутствии, я бледнел при ее приближении; но, горько сожалея о ее полуразрушенном, безутешном состоянии, я припомнил, что она долго любила меня, и в злую минуту заговорил с ней о браке.

И наконец приблизился срок нашей свадьбы, когда однажды, в послеобеденный зимний час — в один из тех безвременно теплых, тихих и туманных дней, которые ласково нянчат прекрасную Гальциону[12], — я сидел (и, как мне казалось, сидел один) в углублении библиотеки. Но, подняв глаза, я увидал, что предо мною стояла Береника.

Было ли это действием моего возбужденного воображения или влиянием туманной атмосферы, или это было обусловлено неверным мерцанием сумерек, или это обусловливалось волнистыми складками серых занавесей, упадавших вкруг ее фигуры, — я не могу сказать, но ее очертания колебались и были неопределенными. Она не говорила ни слова; и я — ни за что в мире не мог бы я произнести ни слова. Леденящий холод

---

[12] Примечания: 12

Гальциона, или Альциона, — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в птицу зимородка, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море две недели совершенно спокойно.

пробежал по моему телу; чувство нестерпимого беспокойства оковало меня; жадное любопытство овладело моей душой; и, откинувшись в кресле, не дыша и не двигаясь, я смотрел на нее пристальным взглядом. Увы! Она страшно исхудала, и ни следа ее прежнего существа нельзя было уловить во всех ее очертаниях. Мои пылающие взгляды упали наконец на ее лицо.

Высокий лоб был очень бледен и озарен чем-то необыкновенно мирным; и волосы, когда-то черные как смоль, падали отдельными прядями, и затеняли бесчисленными завитками впалые виски, и блистали теперь ярким золотом, резко дисгармонируя с господствующей печальностью всего выражения. Глаза были безжизненны, и тусклы, и казались лишенными зрачков. Я невольно содрогнулся и перевел свой взгляд от их стеклянной неподвижности к тонким искривленным губам. Они раздвинулись; на них отразилась улыбка, исполненная какой-то странной выразительности, и медленно передо мною открылись зубы этой измененной Береники. О, если бы Богу угодно было, чтобы я никогда их не видал или, увидев, тотчас умер!

Звук затворяемой двери смутил меня, и, подняв глаза, я увидел, что Береника ушла из комнаты.

Но из пределов моего расстроенного мозга не вышел — увы! — и не мог быть удален белый и чудовищный призрак зубов. Ни одной точки на их поверхности, ни одной тени на их эмали, ни одного отломка на их краях — ничего не упустила моя память, все заметил я в этот краткий миг ее улыбки. Я видел их теперь даже более отчетливо, чем тогда. Зубы — зубы! — они были здесь, и там, и везде, я их видел перед собой, я их осязал; длинные, узкие и необыкновенно белые, с искривленными вкруг них бледными губами, как в тот первый миг, когда они так страшно открылись. И вот неудержимое бешенство моей мономании пришло ко мне, и я напрасно боролся против ее загадочного и неотвратимого влияния. Среди многочисленных предметов внешнего мира я не находил ничего, что бы отвлекло меня от моей мысли о зубах. Я томился, я жаждал их необузданно. Все другие предметы, все разнородные интересы погасли в этом единственном созерцании. Они, только они, представлялись моим умственным взорам, и в своей единственной индивидуальности они сделались сущностью моей духовной жизни. Я смотрел на них под разными углами. Я придавал им самое разнородное положение. Я наблюдал их отличительные чер-

ты. Я останавливался взором на их особенностях. Я подолгу размышлял об их форме. Я думал об изменении в их природе. Я содрогался, когда приписывал им в воображении способность чувствовать и ощущать, способность выражать душевное состояние даже независимо от губ. О m-me Салль[13] прекрасно было сказано, что «tous ses pas étaient des sentiments»[14]; относительно Береники я еще более серьезно был убежден, что toutes ses dents étaient des idées. Des idées![15] А, вот она, идиотская мысль, погубившая меня! Des idées! А, так поэтому-то я жаждал их так безумно! Я чувствовал, что только их власть может возвратить мне мир, вернув мне рассудок.

И вечер надвинулся на меня, и потом пришла тьма, и помедлила, и ушла, и новый день забрезжил — и туманы второй ночи собрались вокруг, и я все еще сидел недвижно в этой уединенной комнате — я все еще был погружен в размышления, — и все еще призрак зубов страшным

---

[13] Примечания: 13

Салле, Мари (1707–1756) — французская балерина, прославившаяся в 20–30-е годы XVIII века в театрах Лондона и Парижа.

[14] Примечания: 14

Каждый ее шаг исполнен чувства (*франц.*)

[15] Примечания: 15

Что все ее зубы исполнены смысла. Смысла! (*франц.*)

образом висел надо мной и тяготел, и с отвратительной отчетливостью он как бы витал везде кругом по комнате среди изменчивой игры света и теней. Наконец в мой сон ворвался вопль, как бы крик испуга и ужаса, и потом, после перерыва, последовал гул смешанных голосов, прерываемый глухими стонами печали или тревоги. Я поднялся с своего места и, распахнув одну из дверей библиотеки, увидал в прихожей служанку, всю в слезах, которая сказала мне, что Береники больше нет! Ранним утром она была застигнута эпилепсией, и теперь, с наступлением ночи, могила ждала свою гостью, и все приготовления для похорон были уже окончены.

.....

Я увидал себя сидящим в библиотеке, и я опять сидел здесь один. Я как будто только что проснулся от смутного тревожного сна. Я знал, что была полночь, и я отлично знал, что после захода солнца Береника была погребена. Но относительно этого мрачного промежуточного периода у меня не было никакого положительного или, по крайней мере, никакого определенного представления, и однако же воспоминание о нем было переполнено ужасом — ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом еще более

страшным в силу своего уклончивого смысла. В летописи моего существования была чудовищная страница, вся исписанная туманными, и гнусными, и непонятными воспоминаниями. Я старался распутать их — напрасно; и время от времени, как будто дух отлетевшего звука, в моих ушах, казалось мне, содрогался звенящий пронзительный крик резкого женского голоса. Я мог что-то сделать — но что? Я спрашивал себя, громко повторяя этот вопрос, и шепчущее эхо комнаты отвечало мне: «Что?»

На столе около меня горела лампа; близ нее стоял маленький ящик. Он ничем не был замечателен, и я часто видал его раньше, он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал сюда, на мой стол, и почему я содрогался, разглядывая его? Это было необъяснимо, и взор мой наконец случайно упал на страницу открытой книги — и на фразу, подчеркнутую в ней. То были необыкновенные и простые слова поэта Ибн-Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levates». Почему же, когда я прочел их, волосы стали дыбом у меня на голове и кровь оледенела в моих жилах?

Послышался легкий стук в дверь библиотеки

— и бледный, как выходец из могил, в комнату на цыпочках вошел слуга. Его глаза были дикими от ужаса, и, обращаясь ко мне, он заговорил дрожащим, хриплым и необыкновенно тихим голосом. Что говорил он? Я расслышал отдельные обрывки. Он говорил, что безумный крик возмутил безмолвие ночи, что все слуги собрались, что в направлении этого звука стали искать; и тут его голос сделался ужасающе отчетливым, когда он начал шептать мне об осквернении могилы — об изуродовании тела, закутанного в саван, но еще дышащего, еще трепещущего, еще живого!

Он указал на мое платье; оно было обрызгано грязью и запачкано густой запекшейся кровью. Я не говорил ни слова, и он тихонько взял меня за руку; на ней были вдавленные следы человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Я смотрел на него несколько минут: это был заступ. С криком я бросился к столу и схватил ящик, стоявший на нем. Но я не мог его открыть; и, охваченный дрожью, я выпустил его из рук, он тяжело упал и разбился на куски; и из него, с металлическим звуком, покатились различные зубоврачебные инструменты, а среди них там и сям рассыпались по полу тридцать два неболь-

ших кусочка цвета слоновой кости.

Черный кот

Я хочу записать самый странный и в то же время самый обыкновенный рассказ, но не прошу, чтобы мне верили, и не думаю, что мне поверят. Действительно, нужно быть сумасшедшим, чтобы ожидать этого при таких обстоятельствах, когда мои собственные чувства отвергают свои показания. А я не сумасшедший, и, во всяком случае, мои слова — не бред. Но завтра я умру, и сегодня мне хотелось бы освободить мою душу от тяжести. Я намерен рассказать просто, кратко и без всяких пояснений целый ряд событий чисто личного, семейного характера. В своих последствиях эти события устрашили, замучили, погубили меня. Однако я не буду пытаться истолковывать их. Для меня они явились не чем иным, как ужасом, для многих они покажутся не столько страшными, сколько причудливыми. Впоследствии, быть может, найдется какой-нибудь ум, который пожелает низвести мой фантом до общего места, — какой-нибудь ум более спокойный, более логичный и гораздо менее возбудимый, чем мой, и в обстоятельствах, которые я излагаю

с ужасом, он не увидит ничего, кроме ординарной последовательности самых естественных причин и следствий.

С раннего детства я отличался кротостью и мягкостью характера. Нежность моего сердца была даже так велика, что я был посмешищем среди своих товарищей. В особенности я любил животных, и родители мои награждали меня целым множеством бессловесных любимцев. С ними я проводил большую часть моего времени, и для меня было самым большим удовольствием кормить и ласкать их. Эта своеобразная черта росла, по мере того как я сам рос, и в зрелом возрасте я нашел в ней один из главных источников наслаждения. Тем, кто испытывал привязанность к верной и умной собаке, я вряд ли должен объяснять особенный характер и своеобразную напряженность удовольствия, отсюда проистекающего. В бескорыстной и самоотверженной любви животного есть что-то, что идет прямо к сердцу того, кто имел неоднократный случай убедиться в жалкой дружбе и в непрочной, как паутина, верности существа, именуемого человеком.

Я женился рано, и с удовольствием заметил, что наклонности моей жены не противоречили мо-

им. Видя мое пристрастие к ручным животным, она не упускала случая доставлять мне самые приятные экземпляры таких существ. У нас были птицы, золотая рыбка, славная собака, кролики, маленькая обезьянка и кот.

Этот последний был необыкновенно породист и красив, весь черный, и понятливости прямо удивительной. Говоря о том, как он умен, жена моя, которая в глубине сердца была порядком суеверна, неоднократно намекала на старинное народное поверье относительно того, что все черные кошки — превращенные колдуньи. Не то чтобы она была всегда серьезна, когда касалась данного пункта, нет, и я упоминаю об этом только потому, что сделать такое упоминание можно именно теперь.

Плутон — так назывался кот — был моим излюбленным и неизменным товарищем. Я сам кормил его, и он сопровождал меня всюду в доме, куда бы я ни пошел. Мне даже стоило усилий удерживать его, чтобы он не следовал за мной по улицам.

Такая дружба между нами продолжалась несколько лет, и за это время мой темперамент и мой характер — под воздействием Демона Невоздержности (стыжусь признаться в этом) —

претерпели резкую перемену к худшему. День ото дня я становился все капризнее, все раздражительнее, все небрежнее по отношению к другим. Я позволял себе говорить самым грубым образом с своей женой. Я дошел даже до того, что позволил себе произвести над ней насилие. Мои любимцы, конечно, также не преминули почувствовать перемену в моем настроении. Я не только совершенно забросил их, но и злоупотреблял их беспомощностью. По отношению к Плутону, однако, я еще был настроен в достаточной степени благосклонно, чтобы удерживаться от всяких злоупотреблений; зато я нимало не стеснялся с кроликами, с обезьяной и даже с собакой, когда случайно или в силу привязанности они приближались ко мне. Но мой недуг все более завладевал мной — ибо какой же недуг может сравниться с Алкоголем! — и наконец даже Плутон, который теперь успел постареть и, естественно, был несколько раздражителен, — даже Плутон начал испытывать влияние моего дурного нрава.

Однажды ночью, когда я, в состоянии сильного опьянения, вернулся домой из одного подгородного притона, бывшего моим обычным убежищем, мне пришло в голову, что кот избегает моего присутствия. Я схватил его, и он, испугавшись моей

грубости, слегка укусил меня за руку. Мгновенно мною овладело бешенство дьявола. Я не узнавал самого себя. Первоначальная душа моя как будто сразу вылетела из моего тела, и я затрепетал всеми фибрами моего существа от ощущения более чем дьявольского злорадства, вспоенного джином. Я вынул из жилета перочинный ножик, раскрыл его, схватил несчастное животное за горло и хладнокровно вырезал у него один глаз из орбиты! Я краснею, я горю, я дрожу, записывая рассказ об этой проклятой жестокости.

Когда с утром вернулся рассудок — когда хмель ночного беспутства рассеялся, — я был охвачен чувством не то ужаса, не то раскаяния при мысли о совершенном преступлении; но это было лишь слабое и уклончивое чувство, и душа моя оставалась нетронутой. Я опять погрузился в излишества и вскоре утопил в вине всякое воспоминание об этой гнусности.

Между тем кот мало-помалу поправлялся. Пустая глазная впадина, правда, представляла из себя нечто ужасающее, но он, по-видимому, больше не испытывал никаких страданий. Он по-прежнему бродил в доме, заходя во все углы, но, как можно было ожидать, с непобедимым страхом убегал, как только я приближался к

нему. У меня еще сохранилось настолько из моих прежних чувств, что я сначала крайне огорчался, видя явное отвращение со стороны существа, которое когда-то так любило меня. Но это чувство вскоре сменилось чувством раздражения. И тогда, как бы для моей окончательной и непоправимой пагубы, пришел дух извращенности. Философия не занимается рассмотрением этого чувства. Но насколько верно, что я живу, настолько же несомненно для меня, что извращенность является одним из самых первичных побуждений человеческого сердца — одной из основных нераздельных способностей, дающих направление характеру человека. Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость или глупость только потому, что, как он знает, он не должен был бы этого делать? Разве мы не испытываем постоянной наклонности нарушать, вопреки нашему здравому смыслу, то, что является Законом, именно потому, что мы понимаем его как таковой? Повторяю, этот дух извращенности пришел ко мне для моей окончательной пагубы. Эта непостижимая жажда души мучить себя — именно производить насилие над собственной природой — делать зло ради самого зла, — побуждала меня продолжать несправедливость по отношению к

беззащитному животному — и заставила меня довести злоупотребление до конца. Однажды утром, совершенно хладнокровно я набросил коту на шею петлю и повесил его на сучке; повесил его, несмотря на то, что слезы текли ручьем из моих глаз и сердце сжималось чувством самого горького раскаяния; повесил его, потому что знал, что он любил меня, и потому что я чувствовал, что он не сделал мне ничего дурного; повесил его, потому что я знал, что, поступая таким образом, я совершал грех — смертный грех, который безвозвратно осквернял мою неумирающую душу и силой своей гнусности, быть может, выбрасывал меня, если только это возможно, за пределы бесконечного милосердия Господа, Бога Милосерднейшего и самого Страшного.

В ночь после того дня, когда было совершено это жестокое деяние, я был пробужден от сна криками «Пожар!». Занавеси на моей постели пылали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам — мы еле-еле спаслись от опасности сгореть заживо. Разорение было полным. Все мое имущество было поглощено огнем, и отныне я был обречен на отчаяние.

Я, конечно, не настолько слаб духом, чтобы искать причинной связи между несчастием и

жестокостью. Но я развертываю цепь фактов и не хочу опускать ни одного звена, как бы оно ни было ничтожно. На другой день я пошел на пожарище. Стены были разрушены, исключая одной. Сохранилась именно не очень толстая перегородка; она находилась приблизительно в середине дома, и в нее упиралось изголовье кровати, на которой я спал. Штукатурка на этой стене во многих местах оказала сильное сопротивление огню — факт, который я приписал тому обстоятельству, что она недавно была отделана заново. Около этой стены собралась густая толпа, и многие, по-видимому, пристально и необыкновенно внимательно осматривали ее в одном месте. Возгласы «странно!», «необыкновенно!» и другие подобные замечания возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел как бы втиснутым, в виде барельефа, на белой поверхности стены изображение гигантского кота. Очертания были воспроизведены с точностью поистине замечательной. Вкруг шеи животного виднелась веревка.

В первую минуту, когда я заметил это привидение — чем другим могло оно быть на самом деле? — мое удивление и мой ужас были безграничны. Но в конце концов размышление пришло

мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду. Когда началась пожарная суматоха, этот сад немедленно наполнился толпой, кто-нибудь сорвал кота с дерева и бросил его в открытое окно, в мою комнату, вероятно с целью разбудить меня. Другие стены, падая, втиснули жертву моей жестокости в свежую штукатурку; сочетанием извести, огня и аммиака, выделившегося из трупа, было довершено изображение кота — так, как я его увидал.

Хотя я, таким образом, быстро успокоил свой рассудок, если не совесть, найдя естественное объяснение этому поразительному факту, он, тем не менее, оказал на мою фантазию самое глубокое впечатление. Несколько месяцев я не мог отделаться от фантома кота, и за это время ко мне вернулось то половинчатое чувство, которое казалось раскаянием, не будучи им. Я даже начал сожалеть об утрате животного и не раз, когда находился в том или в другом из своих обычных гнусных притонов, осматривался кругом, ища другого экземпляра той же породы, который, будучи хотя сколько-нибудь похож на Плутона, мог бы заменить его.

Однажды ночью, когда я, наполовину отупев, сидел в вертепе более чем отвратительном, вни-

мание мое было внезапно привлечено каким-то черным предметом, лежавшим на верхушке одной из огромных бочек джина или рома, составлявших главное украшение комнаты. Несколько минут я пристально смотрел на верхушку этой бочки, и что меня теперь изумляло, это тот странный факт, что я не заметил данного предмета раньше. Я приблизился к нему и коснулся его своей рукой. Это был черный кот, очень большой — совершенно таких же размеров, как Плутон, — и похожий на него во всех отношениях, кроме одного. У Плутона не было ни одного белого волоска на всем теле; а у этого кота было широкое, хотя и неопределенное, белое пятно почти во всю грудь.

Когда я прикоснулся к нему, он немедленно приподнялся на лапы, громко замурлыкал, стал тереться об мою руку и, по-видимому, был весьма пленен моим вниманием. Вот, наконец, подумал я, именно то, чего я ищу. Я немедленно обратился к хозяину трактира с предложением продать мне кота, но тот не имел на него никаких претензий — ничего о нем не знал, никогда его раньше не видел.

Я продолжал ласкать кота, и, когда я приготовился уходить домой, он выразил желание

сопровождать меня. Я, с своей стороны, все манил его, время от времени нагибаясь и поглаживая его по спине. Когда кот достиг моего жилища, он немедленно устроился там, как дома, и быстро сделался любимцем моей жены.

Что касается меня, я вскоре почувствовал, что во мне возникает отвращение к нему. Это было нечто как раз противоположное тому, что я заранее предвкушал; не знаю как и почему, но его очевидное расположение ко мне вызывало во мне надоедливое враждебное чувство. Мало-помалу это чувство досады и отвращения возросло до жгучей ненависти. Я избегал этой твари; однако известное чувство стыда, а также воспоминания о моем прежнем жестоком поступке не позволяли мне посягать на него. Недели шли за неделями, и я не смел ударить его или позволить себе какое-нибудь другое насилие, но мало-помалу — ощущение, развивавшееся постепенно, — я стал смотреть на него с невыразимым омерзением, я стал безмолвно убегать от его ненавистного присутствия, как от дыхания чумы.

Что, без сомнения, увеличивало мою ненависть к животному, это — открытие, которое я сделал утром на другой день после того, как кот появился в моем доме, — именно, что он, подобно Плутону,

был лишен одного глаза. Данное обстоятельство, однако, сделало его еще более любезным сердцу моей жены: она, как я уже сказал, в высокой степени обладала тем мягкосердечием, которое было когда-то и моей отличительной чертой и послужило для меня источником многих самых простых и самых чистых удовольствий.

Но, по мере того как мое отвращение к коту росло, в равной мере, по-видимому, возрастало его пристрастие ко мне. Где бы я ни сидел, он непременно забирался ко мне под стул или вспрыгивал ко мне на колени, обременяя меня своими омерзительными ласками. Когда я вставал, он путался у меня в ногах, и я едва не падал, или, цепляясь своими длинными и острыми когтями за мое платье, вешался таким образом ко мне на грудь. Хотя в такие минуты у меня было искреннее желание убить его одним ударом, я все-таки воздерживался, частью благодаря воспоминанию о моем прежнем преступлении, но главным образом — пусть уж я признаюсь в этом сразу — благодаря несомненному страху перед животным.

То не был страх физического зла — и однако же я затрудняюсь, как мне иначе определить его. Мне почти стыдно признаться — даже в этой

камере осужденных, — мне почти стыдно признаться, что страх и ужас, которые мне внушало животное, были усилены одной из нелепейших химер, какие только возможно себе представить. Жена неоднократно обращала мое внимание на характер белого пятна, о котором я говорил и которое являлось единственным отличием этой странной твари от животного, убитого мной. Читатель может припомнить, что это пятно, хотя и широкое, было сперва очень неопределенным, но мало-помалу — посредством изменений почти незаметных и долгое время казавшихся моему рассудку призрачными — оно приняло наконец отчетливые, строго определенные очертания. Оно теперь представляло из себя изображение страшного предмета, который я боюсь назвать, — и благодаря этому-то более всего я гнушался чудовищем, боялся его и хотел бы от него избавиться, если бы только смел, — пятно, говорю я, являлось теперь изображением предмета гнусного, омерзительно-страшного — виселицы! О, мрачное и грозное орудие ужаса и преступления — агонии и смерти!

И теперь я действительно был беспримерно злосчастным, за пределами чисто человеческого злосчастия. Грудь животного — равного которому

я презрительно уничтожил, — грудь животного доставляла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, — столько невыносимых мук! Увы, ни днем ни ночью я больше не знал благословенного покоя! В продолжение дня отвратительная тварь ни на минуту не оставляла меня одного; а по ночам я чуть не каждый час вскакивал, просыпаясь от неизреченно страшных снов, чувствуя на лице своем горячее дыхание чего-то, чувствуя, что огромная тяжесть этого чего-то — олицетворенный кошмар, стряхнуть который я был не в силах, — навеки налегла на мое сердце.

Под давлением подобных пыток во мне изнемогло все то немногое доброе, что еще оставалось. Дурные мысли сделались моими единственными незримыми сотоварищами — мысли самые черные и самые злые. Капризная неровность, обыкновенно отличавшая мой характер, возросла настолько, что превратилась в ненависть решительно ко всему и ко всем; и безропотная жена моя, при всех этих внезапных и неукротимых вспышках бешенства, которым я теперь слепо отдавался, была, увы, самой обычной и самой бессловесной жертвой.

Однажды она пошла со мной по какой-то хозяй-

ственной надобности в погреб, примыкавший к тому старому зданию, где мы, благодаря нашей бедности, были вынуждены жить. Кот сопровождал меня по крутой лестнице и, почти сталкивая меня со ступенек, возмущал меня до бешенства. Взмахнув топором и забывая в своей ярости ребяческий страх, до того удерживавший мою руку, я хотел нанести животному удар, и он, конечно, был бы фатальным, если бы пришелся так, как я метил. Но удар был задержан рукой моей жены. Уязвленный таким вмешательством, я исполнился бешенством, более чем дьявольским, отдернул свою руку и одним взмахом погрузил топор в ее голову. Она упала на месте, не крикнув.

Совершив это чудовищное убийство, я тотчас же, с невозмутимым хладнокровием, принялся за работу, чтобы скрыть труп. Я знал, что мне нельзя было удалить его из дому ни днем ни ночью, без риска быть замеченным соседями. Целое множество планов возникло у меня в голове. Одну минуту мне казалось, что тело нужно разрезать на мелкие кусочки и сжечь. В другую минуту мною овладело решение выкопать заступом могилу в земле, служившей полом для погреба, и зарыть его. И еще новая мысль пришла мне в голову: я подумал, не бросить ли тело в колодец,

находившийся на дворе, а то хорошо было бы запаковать его в ящик, как товар, и, придав этому ящику обычный вид клади, позвать носильщика и таким образом удалить его из дому. Наконец я натолкнулся на мысль, показавшуюся мне наилучшей из всех. Я решил замуровать тело в погребе — как, говорят, средневековые монахи замуровывали свои жертвы.

Колодец как нельзя лучше был приспособлен для такой задачи. Стены его были выстроены неплотно и недавно были сплошь покрыты грубой штукатуркой, не успевшей, благодаря сырости атмосферы, затвердеть. Кроме того, в одной из стен был выступ, обусловленный ложным камином или очагом; он был заделан кладкой и имел полное сходство с остальными частями погреба. У меня не было ни малейшего сомнения, что мне легко будет отделить на этом месте кирпичи, втиснуть туда тело и замуровать все, как прежде, так чтоб ничей глаз не мог открыть ничего подозрительного.

И в этом расчете я не ошибся. С помощью лома я легко вынул кирпичи, и, тщательно поместив тело против внутренней стены, я подпирал его в этом положении, пока с некоторыми небольшими усилиями не придал всей кладке ее прежнего

вида. Соблюдая самые тщательные предосторожности, я достал песку, шерсти и известкового раствора, приготовил штукатурку, которая не отличалась от старой, и с большим тщанием покрыл ею новую кирпичную кладку. Окончив это, я почувствовал себя удовлетворенным, видя, как все великолепно. На стене не было нигде ни малейшего признака переделки. Мусор на полу я собрал со вниманием самым тщательным. Оглядевшись вокруг торжествующим взглядом, я сказал самому себе: «Да, здесь, по крайней мере, моя работа не пропала даром».

Затем первым моим движением было отыскать животное, явившееся причиной такого злополучия. Я наконец твердо решился убить его, и, если бы мне удалось увидать его в ту минуту, его участь определилась бы несомненным образом. Но лукавый зверь, по-видимому, был испуган моим недавним гневом и остерегался показываться. Невозможно описать или вообразить чувство глубокого благодетельного облегчения, возникшее в груди моей, благодаря отсутствию этой ненавистной гадины. Кот не показывался в течение всей ночи, и таким образом, с тех пор как он вошел в мой дом, это была первая ночь, когда я заснул глубоким и спокойным сном. Да, да, за-

снул, хотя бремя убийства лежало на моей душе!

Прошел второй день, прошел третий, а мой мучитель все не приходил. Наконец-то я опять чувствовал себя свободным человеком. Чудовище — в страхе — бежало из моего дома навсегда! Я больше его не увижу! Блаженство мое не знало пределов. Преступность моего черного злодеяния очень мало беспокоила меня. Произведен был небольшой допрос, но я отвечал твердо. Был устроен даже обыск, но, конечно, ничего не могли найти. Я считал свое будущее благополучие обеспеченным.

На четвертый день после убийства несколько полицейских чиновников совершенно неожиданно пришли ко мне и сказали, что они должны опять произвести строгий обыск. Я, однако, не чувствовал ни малейшего беспокойства, будучи вполне уверен, что мой тайник не может быть открыт. Полицейские чиновники попросили меня сопровождать их во время обыска. Ни одного уголка, ни одной щели не оставили они необследованными. Наконец в третий или в четвертый раз они сошли в погреб. У меня не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось ровно, как у человека, спящего сном невинности. Я прогуливался по погребу из конца в конец. Скрестив руки

на груди, я спокойно расхаживал взад и вперед. Полиция была совершенно удовлетворена и собиралась уходить. Сердце мое исполнилось ликования, слишком сильного, чтобы его можно было удержать. Я сгорал желанием сказать хоть одно торжествующее слово и вдвойне усилить уверенность этих людей в моей невиновности.

«Джентльмены, — выговорил я наконец, когда полиция уже всходила по лестнице, — я положительно восхищен, что мне удалось рассеять ваши подозрения. Желаю вам доброго здоровья, а также немножко побольше любезности. А однако, милостивые государи, вот, скажу я вам, дом, который прекрасно выстроен. [Задыхаясь от бешеного желания сказать что-нибудь спокойно, я едва знал, что говорил.] Могу сказать, великолепная архитектура. Вот эти стены — да вы уже, кажется, уходите? — вот эти стены, как они плотно сложены», — и тут, объятый бешенством бравады, я изо всей силы хлопнул палкой, находившейся у меня в руках, в то самое место кирпичной кладки, где стоял труп моей жены.

Но да защитит меня Господь от когтей врага человеческого! Не успел отзвук удара слиться с молчанием, как из гробницы раздался ответный голос! То был крик, сперва заглушенный и пре-

рывистый, как плач ребенка; потом он быстро вырос в долгий, громкий и протяжный визг, нечеловеческий, чудовищный, — то был вой, то был рыдающий вопль не то ужаса, не то торжества; такие вопли могут исходить только из ада, как совокупное слитие криков, исторгнутых из горла осужденных, терзающихся в агонии, и воплей демонов, ликующих в самом осуждении.

Говорить о том, что я тогда подумал, было бы безумием. Теряя сознание, шатаясь, я прислонился к противоположной стене. Одно мгновение кучка людей, стоявших на лестнице, оставалась недвижной, застывши в чрезмерности страха и ужаса. В следующее мгновение дюжина сильных рук разрушала стену. Она тяжело рухнула. Тело, уже сильно разложившееся и покрытое густой запекшейся кровью, стояло выпрямившись перед глазами зрителей. А на мертвой голове, с красной раскрытой пастью и с одиноко сверкающим огненным глазом, сидела гнусная тварь, чье лукавство соблазнило меня совершить убийство и чей изобличительный голос выдал меня палачу. Я замуровал чудовище в гробницу!

Остров феи

Nullus enim locus sine genio est.
***Servius*[16][17]**

Музыка, — говорит Мармонтель в своих «Contes moraux»[18], которые, точно в насмешку над их духом, упорно превращаются у наших переводчиков в «Нравоучительные рассказы», — музыка единственный дар, наслаждающийся самим собою; все остальные нуждаются в обществе». Он смешивает здесь наслаждение, доставляемое сладкими звуками, со способностью творить их. Музыкальный дар, как и всякий другой, может доставлять полное наслаждение лишь в том случае, когда есть посторонние люди, которые могут оценить его; и так же, как всякий другой, он производит на душу действие, которым можно наслаждаться в уединении. Мысль, которую

---

[16] Примечания: 16

Нет места без гения. (Сервий).

[17] Примечания: 17

Сервий Туллий (Servius Tullius) — согласно преданию, шестой из царей Древнего Рима, правивший в 578–535 гг. до н. э.

[18] Примечания: 18

Moraux — здесь производное от moeurs и означает «он равах».

raconteur[19] не сумел выразить ясно — или пожертвовал ясностью французской любви к игре слов, — без сомнения, вполне справедлива в том смысле, что высокая музыка может быть вполне оценена лишь тогда, когда мы слушаем ее одни. С такою мыслью согласится всякий, кто ценит лиру ради нее самой и ее духовного значения. Но есть и еще наслаждение у грешного человечества — быть может, одно-единственное, которое еще больше, чем музыка, связано с уединением. Я говорю о наслаждении, которое доставляют картины природы. Поистине, только тот может созерцать славу Господню на земле, кто созерцает ее в уединении. Для меня, по крайней мере, присутствие не только человеческой, но и всякой другой жизни — кроме зеленых существ, в безмолвии произрастающих на земле, — представляет пятно на картине, враждебное гению картины. Да, я люблю смотреть на темные долины, на серые скалы, на тихие воды с их безмолвной улыбкой; на леса, вздыхающие в беспокойном сне; на гордые вершины, которые смотрят вниз, подобно часовым на сторожевых постах, — я вижу во всем этом исполинские члены одного

---

[19] Примечания: 19
Raconteur — хороший рассказчик (*франц.*).

одушевленного и чувствующего целого — того целого, чья форма (форма сферы) наиболее совершенная и всеобъемлющая из всех; чей путь лежит среди дружественных светил; чья кроткая рабыня — луна; чей властелин — солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — благо; чья отрада — знание; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об animalculae[20], заражающих наш мозг, — почему мы и считаем его, это целое, неодушевленным и грубовещественным, таким же, каким должны считать нас animalculae.

Наши телескопы, наши математические исследования убеждают нас вопреки заблуждениям невежественной теологии, что пространство, а следовательно, и вместимость являются важным соображением в глазах Всемогущего. Круги, по которым движутся светила, наиболее приспособлены для движений, без столкновения возможно большего числа тел. Формы этих тел именно таковы, чтобы в данном объеме заключать наибольшее количество материи, а поверхности их расположены так, что могут поместить на себе население более многочисленное, чем при

---

[20] Примечания: 20
Микроскопические существа (*лат.*).

всяком другом расположении. Бесконечность пространства не может служить доказательством против той мысли, что вместимость входила в расчеты божества, потому что бесконечное пространство наполнено бесконечной материей. И раз мы видим, что наделение материи жизнью представляет закон — даже насколько мы можем судить об этом, — руководящий закон деятельности Бога, — было бы нелогично воображать, что этот закон ограничивается областью мелочных явлений, где мы видим его ежедневно, и не простирается на область величественного. Мы видим круг в кругу без конца, и все они вращаются вокруг отдаленного средоточия, Божества; не можем ли мы по подобию предположить жизнь в жизни, меньшую в большей, и все — в духе Господнем. Короче сказать, мы безумно заблуждаемся, предполагая в своем тщеславии, что человек и его судьбы, настоящие и будущие, больше значат во Вселенной, чем огромная «глыба праха», которую он обрабатывает и презирает, не признавая за ней души только потому, что не замечает ее проявлений[21].

Эти и им подобные мысли всегда придавали

---

[21] Примечания: 21

Рассуждая о приливах и отливах в трактате «De Situ Orbis», Помпоний Мела говорит: «Мир — огромное животное, или...» и т. д.

моим раздумьям, среди гор и лесов, на берегах рек и океана, окраску, которую будничный мир не преминет назвать сказочной. Я много раз странствовал среди таких картин, уходил далеко, часто в одиночестве, и наслаждение, которое я испытывал, бродя по глубоким туманным долинам или любуясь отражением неба в светлых водах озера, всегда усиливалось при мысли, что я брожу и любуюсь один. Какой болтливый француз[22] сказал, намекая на известное произведение Циммермана: «La solitude est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose?»[23] Замечание остроумное, но этой необходимости вовсе нет.

В одном из таких одиноких блужданий среди гор, нагроможденных друг на друга, и печальных рек, и угрюмых сонных прудов я случайно наткнулся на речку с островком. Я забрел сюда в июне и бросился на траву под каким-то неизвестным мне благовонным кустарником, чтобы в дремоте любоваться видом. Я чувствовал, что именно так нужно рассматривать его, потому

---

[22] Примечания: 22

Бальзак, слова которого я точно не помню. — *Примеч. авт.*

[23] Примечания: 23

«Уединение хорошая вещь, только необходимо, чтобы был кто-нибудь, кто сказал бы вам, что уединение — хорошая вещь» (*франц.*).

что на нем лежала печать сновидения, чего-то призрачного.

Со всех сторон, кроме западной, где солнце склонялось к закату, возвышались зеленеющие стены леса. Речка, круто завернув в своем течении, тотчас исчезала из виду; казалось, она не выходила из своей темницы и поглощалась на востоке густой зеленой листвой; тогда как с противоположной стороны (так, по крайней мере, представлялось мне, когда я лежал и смотрел вверх) безмолвно и беспрерывно пышным потоком струились в долину золотые и багряные волны с вечернего неба.

Почти в самой середине узкой расщелины, открывавшейся моему дремлющему взору, покоился на лоне реки круглый островок, одетый роскошною зеленью.

Берег до того сливался с своим отражением, что оба, казалось, висели в воздухе, и светлые воды так походили на зеркало, что невозможно было сказать, где кончается изумрудный дерн и где начинается хрустальное царство воды.

Я мог охватить одним взглядом восточную и западную оконечности острова и заметил странную разницу в их внешнем виде. Западный край казался лучезарным гаремом цветущей красо-

ты. Он сиял и рдел, озаренный косыми лучами заходящего солнца, и смеялся своими пышными цветами. Нежная благоуханная травка была усеяна царскими кудрями. Стройные, прямые, тонкие, изящные деревья с светлой зеленью и пестрой, гладкой, блестящей корой напоминали о Востоке своей формой и листвой. На всем лежала печать жизни и радости, и, хотя ни малейшее дыхание ветерка не шевелило недвижного воздуха, все казалось в движении благодаря мотылькам бесчисленным, которых можно было принять за крылатые цветы[24].

Другой, восточный конец острова был погружен в черную тень. Все здесь было проникнуто мрачной, хотя прекрасной и тихой, скорбью. Темные деревья в траурной одежде казались скорбными торжественными призраками, говорившими о безвременной смерти и надгробной печали. Трава имела мрачную окраску кипариса, листья ее уныло поникли, разбросанные там и сям холмики, заросшие рутой и розмарином, казались могилами. Тени деревьев тяжело ложились на воду и исчезали в ней, окутывая мраком ее глубины. Мне грезилось, что каждая тень,

[24] Примечания: 24

«Florem putares nare per liquidum aethera» (P. Commire) — «Подумаешь, цветок плавает в жидком эфире» (отец Коммир) (*лат.*).

по мере того как солнце спускалось все ниже и ниже, угрюмо отделялась от ствола, породившего ее, и поглощалась потоком, а на место ее тотчас же выступала новая.

Эта мысль, зародившись в моем воображении, возбуждала его все сильнее и сильнее, и я предался мечтам. Если был когда-нибудь очарованный остров, думал я, так вот он передо мною. Здесь, в этом уголке, притаились немногие феи, уцелевшие от гибели, постигшей их племя. Не их ли эти зеленые могилы? Не расстаются ли они с своей легкой жизнью так же, как люди с своей? Или они разрушаются постепенно, возвращая Богу свое существование, капля за каплей, как эти деревья отдают воде тень за тенью, истощая мало-помалу свое существование? Между жизнью феи и смертью, которая поглощает жизнь, не такая ли же связь, как между разрушающимся деревом и водой, которая всасывает тени его, становясь от них все чернее и чернее?

Пока я мечтал с полузакрытыми глазами, а солнце быстро спускалось, и крутящиеся струи вились вокруг острова, нанося на его грудь снежно-белые хлопья коры сикомор, в которых живое воображение могло бы увидеть все, что ему померещится; пока я мечтал, мне показалось, что одна

из тех самых фей, о которых я думал, появилась на западной оконечности острова, медленно двигаясь из света в тьму. Она стояла в странном зыбком челноке, двигая его тенью весла. Пока ее озаряли лучи угасающего солнца, она казалась веселой, но грусть овладевала ею по мере того, как она погружалась в тьму. Она тихонько скользила по воде и наконец обогнула остров и снова появилась на освещенной стороне. Круг, который только что свершила фея, думал я, годовой круг ее скоротечной жизни. Она пережила зиму и лето. Она годом ближе к смерти; я видел, как тень ее отделилась от нее, когда она вступила в темноту, отделилась и исчезла, поглощенная черными водами, которые стали еще чернее.

Снова появился челнок и фея, но на этот раз ее поза обнаруживала больше тревоги и беспокойства и меньше беспечной радости. Снова вступила она из света в тьму (которая сгущалась с минуты на минуту), и снова тень ее отделилась и исчезла в черном лоне вод. И каждый раз, как фея огибала остров (между тем как солнце уходило на покой) и появлялась у освещенного берега, лицо ее становилось все грустнее, все бледнее и призрачнее, и каждый раз, когда она вступала в тьму, тень ее отделялась и исчезала в черных водах. И

наконец, когда солнце исчезло, фея — призрак прежней феи! — в последний раз погрузилась в черную тьму; и вышла ли когда-нибудь — не знаю, потому что все оделось мраком, а я не видел более ее волшебного лица.

Сердце-изобличитель

— Да! Я очень, очень нервен, страшно нервен; но почему хотите вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте! Вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать.

Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову; но, раз придя, она преследовала меня и днем и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда мне не делал зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег его я не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз! Да, именно так! Один его глаз был похож на глаз ястреба — бледно-голубого цвета с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь во мне холодела, и вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика

и этим путем раз и навсегда избавиться от его глаза.

Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели на меня. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело! Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед тем, как я его убил. И каждую ночь, около полночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее — о, так тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало, и тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал! Я подвигал ее медленно, очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем я просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А! Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда моя голова была в комнате, я осторожно открывал фонарь — о, так

осторожно, так осторожно (потому что пружина скрипела), я открывал его как раз настолько, чтобы один тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых семь долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и, таким образом, мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его Дурной Глаз. И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в двенадцать часов, я смотрел на него, покуда он спал.

На восьмую ночь я опять пошел, и на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не чувствовал я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда это пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным, прерывистым смехом, и, быть может, он услыхал

меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете, что я прокрался назад, — нет. В его комнате не видно было ни зги (ставни были плотно заперты, он боялся воров), и я знал, что он не мог видеть открытой двери, и я все толкал ее вперед так спокойно, так спокойно…

Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь, как вдруг большой мой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув: «Кто там?»

Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжение целого часа я не двинулся ни одним мускулом, и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал; совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика.

Но вот я услыхал слабый стон, и я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали — о нет! — то был тихий, заглушенный звук, который исходит из глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что

чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех. Я знал, что он не спал с того самого мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С этого мгновения страх все больше наползал на него. Он старался убедить себя, что опасения напрасны, но не мог. Он говорил себе: «Это ничего, это только ветер в камине, это только мышь пробежала по полу» или «Это только крикнул сверчок, он только раз крикнул». Да, он старался успокоить себя такими догадками; но видел, что все тщетно. Все тщетно, потому что Смерть, приближаясь к нему, прошла перед ним с своею черной тенью и окутала жертву. И это именно зловещее влияние незримой тени заставило его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, присутствие моей головы в комнате.

Я выждал очень терпеливо значительный промежуток времени, но, слыша, что старик не ложится, я решил открыть в фонаре маленькую щелку — очень, очень маленькую. Я стал ее открывать — вы представить себе не можете, до какой степени бесшумно, бесшумно, — и наконец отдельный бледный луч, похожий на вытянутую паутинку, выделился из щели и упал на ястребиный глаз.

Он был открыт, широко, широко открыт, и я пришел в ярость, увидев его. Я видел его совершенно явственно — это был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, который заморозил кровь в моих жилах, но я не видал ничего другого, ни черт его лица, ни его тела, потому что как бы по инстинкту я направил луч света как раз на проклятое пятно.

Ну, и что же, разве я вам не говорил, что то, что вы считаете сумасшествием, есть лишь утонченность моих чувств? Я услышал тихий, глухой, быстрый звук, подобный тиканью карманных часов, завернутых в вату. Этот звук я знал, отлично знал и его. Это билось сердце старика. Быстрый звук усилил мое бешенство, как звук барабанного боя усиливает мужество солдата.

Но и тут я еще сдержался и продолжал стоять неподвижно. Я едва дышал. Фонарь застыл в моих руках. Я пробовал, как упорно могу я устремлять луч света на глаз. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. С каждым мигом звук делался быстрее и быстрее, он делался все громче и громче. Надо думать, что старик был испуган до последней степени! Сердце билось все громче, говорю я, все громче с каждым мигом! Вы хорошо следите за мной? Ведь я вам говорил, что

я нервен: да, я нервен. И теперь, в этот смертный час ночи, посреди мертвой тишины старинного дома, этот странный шум исполнил меня непобедимым ужасом. Однако еще несколько минут я сдерживал себя и стоял спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думал, что оно разорвется. И тут новая забота охватила меня — этот звук могли услышать соседи! Час старика пришел! С громким воплем я раскрыл фонарь и бросился в комнату. Он крикнул — крикнул только раз. В одно мгновение я сошвырнул его на пол и сдернул на него тяжелую постель. И тут я весело улыбнулся, видя, что дело идет так успешно. Но несколько минут сердце продолжало биться, издавая заглушенный звук. Этот звук, однако, больше не мучил меня, его нельзя было услышать через стены. Наконец он прекратился. Старик был мертв. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был совершенно, совершенно мертв. Я приложил руку к его сердцу и держал ее таким образом несколько минут. Пульса не было. Он был совершенно мертв. Его глаз не будет больше тревожить меня.

Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедший, вы разубедитесь, когда я опишу вам все меры предосторожности, которые я предпринял,

чтобы скрыть труп. Ночь уходила, и я работал быстро, но молчаливо.

Я вынул три доски из пола комнаты и положил труп между драницами. Потом я опять укрепил доски так хорошо, так аккуратно, что никакой человеческий глаз — даже и его — не мог бы открыть здесь ничего подозрительного. Ничего не нужно было замывать — ни одного пятна, ни одной капли крови. Я был слишком предусмотрителен для этого.

Когда я все кончил, было четыре часа — на дворе было еще темно, как в полночь. В ту самую минуту, когда били часы, с улицы раздался стук в наружную дверь. С легким сердцем я пошел отворить ее — чего мне было бояться теперь? Вошли три человека и с большой учтивостью представились мне, называя себя полицейскими чиновниками. Один из соседей слышал ночью крик; возникло подозрение, не случилось ли какого злого дела; полиция была об этом извещена, и вот они (полицейские чиновники) были отправлены произвести обыск.

Я улыбался — чего мне было бояться? Я попросил джентльменов пожаловать в комнаты. Закричал это я сам, сказал я, закричал во сне. А старика, сообщил я, нет дома, он на время уехал

из города. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их обыскать все — обыскать хорошенько. Я провел их, наконец, в его комнату. Я показал им все его драгоценности, они были целы и лежали в своем обычном порядке. Охваченный энтузиазмом своей уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, чтобы именно здесь они отдохнули от своих поисков, между тем как я сам, в дикой смелости полного торжества, поставил свой собственный стул как раз на том самом месте, под которым покоилось тело жертвы.

Полицейские чиновники были удовлетворены. Мои манеры убедили их. Я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Они сидели и, между тем как я весело отвечал, болтали о том о сем. Но прошло немного времени, я почувствовал, что бледнею, и искренно пожелал, чтобы они поскорее ушли. У меня заболела голова, и мне показалось, что в ушах моих раздался звон; но они все еще продолжали сидеть, все продолжали болтать. Звон стал делаться явственнее — он продолжался и делался все более явственным: я начал говорить с усиленной развязностью, чтобы отделаться от этого чувства, но звон продолжался с неуклонным упорством — он возрастал, и наконец я понял, что шум был не в моих ушах.

Не было сомнения, что я очень побледнел; но я говорил все более бегло, я все более повышал голос. Звук возрастал — что мне было делать? Это был тихий, глухой быстрый звук, очень похожий на тиканье карманных часов, завернутых в вату. Я задыхался, но полицейские чиновники не слыхали его. Я продолжал говорить все быстрее — все более порывисто; но шум упорно возрастал. Я вскочил и стал разглагольствовать о разных пустяках, громко и с резкими жестикуляциями; но шум упорно возрастал. Почему они не хотели уходить? Тяжелыми, большими шагами я стал расхаживать взад и вперед по комнате, как бы возбужденный до бешенства наблюдениями этих людей, но шум упорно возрастал. О боже! Что мне было делать? Я кипятился — я приходил в неистовство — я клялся! Я дергал стул, на котором сидел, и царапал им по доскам, но шум поднимался надо всем и беспрерывно возрастал. Он становился все громче — громче — громче! А они все сидели и болтали, и улыбались. Неужели они не слыхали? Боже всемогущий! Нет, нет! Они слышали! Они подозревали! Они знали! Они насмехались над моим ужасом! Я подумал это тогда, я так думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чем эта агония! Я все мог вынести, только

не эту насмешку! Я не мог больше видеть эти лицемерные улыбки, чувствовал, что я должен закричать или умереть! — и вот — опять! — слышите! — громче! Громче! Громче! Громче!

«Негодяи! — закричал я. — Не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в убийстве! — сорвите эти доски! — вот здесь, здесь! — вы слышите, это бьется его проклятое сердце!»

Падение дома Эшер

Son coeur est un luth suspendu,
Sitdt gu'on le touehe il resonne.
***de Beranger*[25][26]**

Весь тот день, серый, темный, тихий осенний день — под низко нависшими свинцовыми тучами, — я ехал верхом по необычайно пустынной местности и, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю: невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным чувством поэзии, которое вызывают в душе человеческой даже самые безнадежные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу — на одинокий дом, на мрачные стены, на зияющие впадины выбитых

---

[25] Примечания: 25

Его сердце — висящая лютня,
Лишь дотронуться — она зазвучит.
(Беранже).

[26] Примечания: 26

Пьер Жан де Беранже (фр. Pierre-Jean de Béranger) (19 августа 1780, Париж — 16 июля 1857) — французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.

окон, на чахлую осоку, на седые стволы дряхлых деревьев — с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, с горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, полное бессилие воображения настроить душу на более возвышенный лад. Что же именно, подумал я, что именно так удручает меня в «доме Эшера»? Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим заключением, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас таким образом, но исследовать это влияние — задача непосильная для нашего ума. Возможно, думал я, что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит это впечатление гнетущее. Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась под самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидав в

повторенном и обратном изображении чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые впадины окон.

Тем не менее я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень странное — настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер говорил о жестоких физических страданиях, об угнетавшем его душевном расстройстве и хотел непременно видеть меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, хотя оно казалось мне все-таки странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал о моем друге очень мало. Он всегда был сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежал к очень древней фамилии, представители которой с незапамятных времен отличались особенной чувствительностью характера, выражавшейся в течение многих веков

в различных произведениях искусства, всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее — в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и страстной любви к музыке, скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также замечательный факт, что эта фамилия, при всей своей древности, не породила ни одной боковой ветви, сколько-нибудь живучей; иными словами, что все члены рода, за весьма немногими и кратковременными уклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я раздумывал о замечательном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединила эти последние, что первоначальное название усадьбы заменилось странным и двусмысленным прозвищем «Эшерова дома», под которым местное население подразумевало как самих владельцев, так и их родовую собственность.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка изменить настроение, заглянув в пруд, только

усилила тяжесть первого впечатления. Не сомневаюсь, что сознание своего суеверия — почему мне не употребить этого слова? — усиливало его действие. Таков — я давно убедился в этом — противоречивый закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса.

Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, явившаяся у меня, когда я перевел взгляд от отражения в пруду к самой усадьбе, — фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не показывала силу осаждавших меня впечатлений. Мне показалось, будто дом и вся усадьба окутаны совершенно особенным, им только присущим воздухом, совсем не похожим на окружающий вольный воздух, — воздухом, исходящим от гнилых деревьев, ветхой стены, молчаливого пруда — тяжким, сонным, зараженным — и таинственным.

Стряхнув с души впечатление, которое должно было быть бредом, я стал рассматривать дом. Главная особенная черта его была глубокая древность. Века наложили на него печать неизгладимую. Лишаи покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза

признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, но тем более поражало несоответствие общей, сохранившейся во всех частях постройки с обветшалым видом отдельных камней. Такой вид имеет иногда старинная деревянная работа, изъеденная годами в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает внешний воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, не было заметно ничего, грозящего разрушением. Разве, быть может, внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на переднем фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая в мутных водах пруда.

Заметив все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в приемную. Отсюда лакей неслышными шагами провел меня по темным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я говорил выше. Хотя окружающие предметы — резьба на потолках, темные обои на стенах, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, — были мне знакомы с детства, хотя я сразу узнал все это,

но странно: эти знакомые предметы возбуждали во мне ощущения, совершенно незнакомые. На одной из лестниц я встретил домашнего доктора Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он торопливо поздоровался со мной и прошел мимо. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приходе.

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна помещались на такой высоте от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетчатые окна, так что большие предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и сводчатого расписного потолка. Темные завесы свешивались по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Воздух напоен был тоскою. Унылая, бесконечная, безнадежная, висела она над всеми, пронизывала все.

Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной. Но, взглянув

на него, я убедился в ее искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом изможденном существе друга моих детских игр. А между тем наружность его была замечательна. Трупный цвет кожи, огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза; тонкие, бледные, но удивительно красиво очерченные губы; изящный еврейский нос, однако с чересчур широкими ноздрями; красиво очерченный подбородок, очень мало выдающийся (признак душевной слабости); волосы мягкие, тонкие-тонкие, паутинные; лоб, необычайно широкий в висках, — такую наружность трудно забыть. Особенные черты лица его и свойственное им выражение теперь выступили еще резче, но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я сомневался, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность лица его и волшебный блеск его глаз. Паутина волос, очевидно давно уже не знавшая ножниц, обрамляя лицо почти воздушными прядями, тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность, невыдержанность, следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь подобного не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых особенностях его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал об его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно исчезали) сменялась звуком стремительной уверенности, отрывистым, резким, не терпящим возражений, грубоватым звуком, тем веским, мерным, горловым говором, какой бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный семейный недуг, против которого, кажется, нет лекарства… чисто нервное расстройство, прибавил он по-

спешно, которое, вероятно, пройдет само собою. Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, при этом действовали звуки голоса и слова рассказа.

Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, принимал только самую безвкусную пищу, носил только известные ткани, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и только немногие звуки, исключительно струнных инструментов, не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что он подвержен беспричинному неестественному страху.

— Я погибну, — говорил он, — я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, потому что они могут повлиять на это возбуждение невыносимое. Боюсь не столько самой опасности, сколько ее неизбежного следствия — ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком — страхом!

Я подметил также в его неясных и двусмыс-

ленных намеках другую любопытную черту болезненного душевного состояния. Его преследовали суеверные представления о жилище, в котором он прожил безвыездно столько лет, мысль о каком-то влиянии, сущность которого трудно было понять из его неясных слов.

Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы мало-помалу, в течение долгих лет, приобрели странную власть над его душою: вещи чисто физические — серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, — влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире. После смерти ее, заметил он с горечью, которая произвела на меня впечатление неизгладимое, я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшер. Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали сестру его) медленно прошла в глубине комнаты и скры-

лась, не заметив моего присутствия. Я смотрел на нее с удивлением, к которому примешивалось чувство страха. Почему? Я сам не могу объяснить. Что-то давило меня, пока я следил за ней глазами. Когда она исчезла за дверью, я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые блестели слезы.

Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хотя кратковременные, явления каталептического характера — таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним, ни за что не хотела лечь в постель; но вечером, после моего приезда, слегла (ее брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью), так что я, по всей вероятности, видел ее в последний раз.

В течение нескольких дней имя ее не упоминалось ни Эшером, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали, или я слушал, как во сне, его дикие импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась для меня безнадежность всяких попыток развеселить этот

скорбный дух, бросавший мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные мною наедине с хозяином Эшерова дома. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о наших занятиях. Необузданный идеализм Эшера озарял все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные импровизации врезались мне в душу. Помню, между прочим, болезненную, странную вариацию на дикий мотив последнего вальса Вебера. Живопись, создаваемая его изысканным воображением, в которой с каждой чертой выступало что-то смутное, заставлявшее меня вздрагивать тем сильнее, что я не понимал причины подобного впечатления, — эти картины (хотя я точно вижу их перед собою) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если когда-нибудь человек живописал мысль, то этот человек был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере при обстоятельствах, в которых я находился, чистые отвлеченности, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда

не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фиезели.

Одно из сказочных созданий моего друга, не такое отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или подземного хода, с низкими стенами, гладкими, белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые подробности рисунка ясно показывали, что ход был на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода; не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, а между тем поток ярких лучей затоплял все зловещим неестественным светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обусловливала фантастическое свойство его импровизаций. Но легкость его impromptus не объясняется этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру

рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, следствием самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Я запомнил слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю эту песнь если не вполне, то почти точно.

I

В зеленой долине, жилище светлых ангелов, возвышался когда-то прекрасный, гордый, лучезарный замок. Там стоял он во владениях властелина Мысли! Никогда серафим не простирал своих крыльев над столь прекрасным зданием.

II

Пышные златотканые знамена развевались на кровле его (все это было — все это было в старые, давно минувшие годы); ветерок, порхая по сте-

нам дворца, уносился, напоенный благоуханием.

III

Путник, проходя счастливой долиной, видел в ярко освещенные окна, как духи плавно двигались под мерные звуки лютни вокруг престола, на котором восседал в блеске славы своей порфирородный властитель.

IV

Жемчугами и рубинами горели пышные двери, из них вылетали, кружась и сверкая, толпы Эхо, воспевавшие голосами невыразимо-сладостными мудрость своего повелителя.

V

Но злые призраки в черных одеждах осадили дворец великого царя (ах, пожалеем о нем: солнце уже никогда не взойдет для него, безнадежного!), и ныне царственная слава дома его — только сказание древности полузабытое.

VI

И ныне путник, проходя по долине, видит

сквозь озаренные багровым светом окна, как безобразные призраки теснятся под звуки нестройной мелодии, а из бледных дверей, подобно зловещему потоку, вылетают толпы отвратительных чудовищ и смеются, но никогда не улыбаются.

* * *

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны (многие высказывали то же самое[27]), а потому что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое.

Не знаю, какими словами выразить степень или размах его убеждения. Оно имело связь (как я уже намекал) с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней: в порядке их сочетания, в изобильных мхах, раз-

[27] Примечания: 27

Ватсон, д-р Перенваль, Спалланцани и, в особенности, епископ Ландафф. См. «Chemycal essays», vol. V. — *Примеч. авт.*

росшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг, — а главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удвоились в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особенный воздух (я невольно вздрогнул при этих словах), сгустившийся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и на него самого, так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них.

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали «Вер-Вер» и «Шартрезу» Грессе; «Бельфегора» Макиавелли; «Небо и Ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николая Климма» Гольберга; Хиромантии Роберта Флюда, Жана Д'Эндажинэ, Делантамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика; «Город Солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку, издание «Directorium Inquisitorium» доминиканца Эймерика де Жиронна и отрывки из Помпония Мелы об африканских сатирах и

эгипанах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам.

Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический in quarto служебник одной забытой церкви — «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae».

Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и об ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.

По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения.

Склеп, избранный для этой цели (он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе), был маленький сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг.

Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях: слабый румянец на щеках и ту особенную томную

улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и с стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными, торопливыми, нетвердыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки; в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит недвижимо, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне медленно, но неотразимо.

На седьмой или восьмой день после погребения

леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенною силой.

Проходил час за часом, но сон бежал от глаз моих. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение. Старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки: темных ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным, ужасом, я кое-как надел платье (чувствуя, что в эту ночь не придется спать) и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнатам.

Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку

Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его — очевидно, он был в припадке истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу.

— А вы еще не видали этого? — сказал он отрывисто, после довольно продолжительного молчания. — Не видали? Так вот посмотрите.

С этими словами он поставил лампу в сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе: ветер то и дело менялся; густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было и молния не озаряла их своим блеском. Но с нижней поверхности туч и от всех

окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку.

— Вы не должны, вы не будете смотреть на это, — сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. — Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно: холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, и так мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была «Mad Trist» сэра Ланчелота Каннинга, но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку — ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать (история умственных расстройств представляет много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так:

«Этельред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу».

Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал:

«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый от-

шельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:

Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит;
Дракона кто убьет, получит славный щит.

Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове, так что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука».

Тут я снова остановился — на этот раз с чувством ужаса и изумления, — так как услышал совершенно ясно (хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении) слабый, отдаленный, нерезкий, протяжный, визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я, тем не менее, сохранил при-

сутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота:

«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит; однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном».

Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук, точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную

мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему — и понял наконец его безумную речь.

— Не слышу?.. Да, я слышу… я слышал. Долго… долго… долго… много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел, — о, горе мне, несчастному!.. Не смел… не смел сказать! Мы похоронили ее живою! Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… не смел сказать. А теперь… сейчас… Этельред… ха, ха!.. Треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита!.. Скажите лучше — треск гроба, визг железной двери… и судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою

поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее? Безумец! Тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком: «Безумец! Говорю вам, что она стоит теперь за дверями!»

И, как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания, высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра — но в дверях стояла высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была залита кровью, изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней, агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет; я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказа-

лось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома.

На моих глазах трещина быстро расширилась; налетел сильный порыв урагана; полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами; мощные стены распались и рухнули; раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий, черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами «дома Эшера».

Овальный портрет

«Egli e vivo e parlerebtje se non osser-vasse la regola del silentio».[28][29]

Лихорадка моя была сильна и упорна. Я перепробовал все средства, какие только можно было достать в дикой области Апеннин, и все без успеха. Мой слуга и единственный помощник в уединенном замке был слишком нервен и неловок, чтобы пустить мне кровь, которой, правда, я и без того немало потерял в схватке с бандитами. Не мог я также послать его за помощью. Наконец я вспомнил о небольшом запасе опиума, который хранился у меня вместе с табаком: в Константинополе я привык курить табак с этим зельем. Педро подал мне ящик. Я отыскал в нем опиум. Но тут возникло затруднение: я не знал, сколько его отделить на прием. При курении количество было безразлично. Обыкновенно я наполнял трубку наполовину табаком, наполовину опиумом, перемешивал и, случалось, выкуривал всю

---

[28] Примечания: 28
«Он жив и заговорил бы, если бы не соблюдал обета молчания».

[29] Примечания: 29
Надпись на итальянской картине св. Бруно.

эту смесь, не испытывая никакого особенного действия. Случалось и так, что, выкурив две трети, я замечал признаки умственного расстройства, которые заставляли меня бросать трубку. Во всяком случае, действие опиума проявлялось так постепенно, что не представляло серьезной опасности. Теперь случай был совсем другой. Я никогда еще не принимал опиума внутрь. Мне случалось прибегать к лауданому и морфию, и относительно этих средств я бы не стал колебаться. Но с употреблением опиума я вовсе не был знаком. Педро знал об этом не больше меня, так что приходилось действовать наудачу. Впрочем, я недолго колебался, решившись принимать постепенно. На первый раз, думал я, приму очень маленькую дозу. Если она не подействует, буду повторять до тех пор, пока не уменьшится лихорадка или не явится благодетельный сон, который был крайне необходим для меня, но уже целую неделю бежал от моих взволнованных чувств. Без сомнения, это самое волнение — смутный бред, уже овладевший мною, — помешало мне уразуметь нелепость моего намерения устанавливать большие или малые дозы, не имея никакого масштаба для сравнения. Мне и в голову не приходило, что доза чистого опиума, кото-

рую я считаю ничтожной, на самом деле может быть огромной. Напротив, я хорошо помню, что с полной уверенностью определил количество, необходимое для первого приема, сравнивая его с целым куском опиума, находившимся в моем распоряжении. Порция, которую я проглотил без всяких опасений, представляла очень малую часть всего куска, находившегося в моих руках.

Замок, в который мой слуга решился вломиться силой, лишь бы не оставить меня, раненного, под открытым небом, был одной из тех угрюмых и величавых громад, которые бог знает сколько веков хмурятся среди Апеннин, не только в воображении мистрисс Ратклифф[30], но и в действительности. По-видимому, он был покинут хозяевами очень недавно и только на время. Мы выбрали комнату поменьше и попроще в отдаленной башенке. Обстановка ее была богатая, но ветхая и старинная. Стены были увешаны коврами, разнообразными воинскими доспехами и современными картинами в богатых золотых рамах. Эти картины, висевшие не только на открытых стенах, но и по всем зако-

[30] Примечания: 30

Радклиф, Анна (1764–1823) — английская писательница, автор готических романов «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797), действие которых происходит в Италии.

улкам, созданным причудливой архитектурой здания, возбуждали во мне глубокое любопытство, быть может возбужденное начинающимся бредом, так что я велел Педро закрыть тяжелые ставни (ночь уже наступила), зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем подле кровати, и отдернуть черный бархатный полог с бахромой, закрывавший постель. Я рассчитывал, что если мне не удастся уснуть, то буду по крайней мере рассматривать картины и читать их описания в маленьком томике, который оказался на подушке.

Долго, долго читал я — и пристально, благоговейно рассматривал. Часы летели быстрой и чудной чредой, — наступила полночь. Положение канделябра казалось мне неудобным, и, не желая будить уснувшего слугу, я с усилием вытянул руку и переставил его так, чтобы свет ярче освещал книгу.

Но эта перестановка произвела совершенно неожиданное действие. Лучи многочисленных свечей (их было действительно много) упали в нишу, которая до тех пор была окутана густою тенью от одного из столбов кровати. Я увидел ярко освещенную картину, которой не замечал раньше. То был портрет молодой девушки в пер-

вом расцвете пробудившейся женственности. Я бегло взглянул на картину и закрыл глаза. Почему — я и сам не понял в первую минуту. Но пока мои ресницы еще оставались опущенными, я стал обдумывать, почему я опустил их. Это было невольное движение с целью выиграть время для размышления, удостовериться, что зрение не обмануло меня, унять и обуздать фантазию более надежным и трезвым наблюдением. Спустя несколько мгновений я снова устремил на картину пристальный взгляд.

Теперь я не мог сомневаться, что вижу ясно и не обманываюсь, потому что первая вспышка свечей, озарившая картину, по-видимому, рассеяла сонное оцепенение, овладевшее моими чувствами, и разом вернула меня к действительной жизни.

Как я уже раз сказал, то был портрет молодой девушки; голова и плечи, в виньеточном стиле, говоря технически, напоминавшем стиль головок Салли[31]. Руки, грудь и даже кончики золотистых волос незаметно сливались с неопределенной, но глубокой тенью, составлявшею фон картины. Овальная вызолоченная рамка была украшена

[31] Примечания: 31

Салли, Томас (1783–1872) — американский художник, создатель ряда женских портретов, исполненных мягкой интимности.

филигранной работой в мавританском стиле. Живопись представляла верх совершенства. Но не образцовое исполнение, не божественная прелесть лица потрясли меня так внезапно и так могущественно.

Менее всего мог я допустить, чтобы моя фантазия, пробудившаяся от полудремоты, приняла это лицо за живое. Я сразу увидел, что особенности рисунка, стиля, рамы должны были уничтожить подобную идею в миг возникновения, не допуская даже мимолетного самообмана. Упорно раздумывая об этом, я провел, быть может, около часа полусидя-полулежа — и не сводя глаз с портрета. Наконец, насытившись тайной художественного действия, я откинулся на постель. Я убедился, что очарование картины заключалось в совершенной жизненности выражения, которое в первую минуту поразило меня, а потом смутило, подавило и ужаснуло. С глубоким и благоговейным страхом я поставил канделябр на прежнее место. Устранив, таким образом, причину моего волнения, я торопливо перелистал томик с описаниями картин. Отыскав номер, под которым значился овальный портрет, я прочел следующие странные загадочные строки: «Она была девушка редкой красоты и столь же весе-

лая, как прекрасная. В недобрый час увидела она, полюбила и сделалась женой художника. Он — страстный, прилежный, суровый и уже нашедший невесту в своем искусстве, а она — девушка редкой красоты, столь же веселая, сколько прекрасная; вся — радость и смех; резвая, как молодая лань, полная любви и ласки ко всему, ненавидевшая только свою соперницу — Искусство; пугавшаяся только палитры, кистей и других досадных инструментов, отнимавших у нее возлюбленного. Ужасным ударом было для новобрачной услышать, что художник желает снять портрет даже с своей молодой жены. Но она была кротка и послушна, и покорно сидела целые недели в высокой темной башне, где свет только сверху струился на бледное полотно. Он же, художник, вложил всю свою душу в это произведение, которое подвигалось вперед с часу на час, со дня на день. Он был страстный, дикий и своенравный человек, поглощенный своими грезами; и не хотел он видеть, что свет, так зловеще озарявший уединенную башню, губил здоровье и душу его молодой жены, что она таяла на глазах всех, и только он один не замечал этого. Но она улыбалась и не хотела жаловаться, так как видела, что художник (который пользо-

вался высокой славой) находил лихорадочное и жгучее наслаждение в своей работе, и дни и ночи трудился над портретом той, которая так любила его и все-таки томилась и чахла со дня на день. И правда, те, кто видел портрет, говорили вполголоса о чудесном сходстве и находили в нем доказательство не только таланта художника, но и его глубокой любви к той, которую писал он с таким совершенством изумительным. Но когда работа уже близилась к концу, в башню перестали пускать посторонних, потому что художник предавался работе с безумным увлечением и почти не отводил глаз от полотна, не глядел даже на лицо жены. И не хотел он видеть, что краски, которые он набрасывал на полотно, сбегали с лица той, которая сидела подле него. И когда прошло много недель и оставалось только довершить картину, тронув кистью рот и глаза, дух молодой женщины снова вспыхнул, как пламя угасающей лампады. И вот, последний мазок сделан, последний штрих положен, и на мгновение художник остановился, очарованный своим творением, но в ту же минуту, еще не отрывая глаз от портрета, затрепетал, побледнел, и ужаснулся, и, воскликнув громким голосом: «Да это сама жизнь», — быстро обернулся, чтобы взглянуть на

свою возлюбленную — она была мертва!»

Морэлла

Auto xat auta met autou monoeises aiei on.
***Plato*[32]**

С чувством глубокой, но странной нежности смотрел я на свою подругу Морэллу. Случай свел нас несколько лет тому назад, и с первой встречи душа моя занялась огнем, какого никогда до тех пор не знала; но не Эрос зажег этот огонь, и горько и мучительно было убеждение, постепенно вкоренившееся в моей душе, что я не могу определить его сущность и управлять его смутным пылом. Мы встретились, и судьба связала нас перед алтарем. Однако Морэлла избегала общества и, привязавшись исключительно ко мне, доставляла мне счастье. Ведь счастье — удивляться, и счастье — мечтать.

Морэлла была очень образованна. Ее дарования были незаурядные, силы ума колоссальные. Я это чувствовал и во многом сделался ее учеником. Но скоро я открыл, что, может быть, под влиянием своего пресбургского воспитания, она давала

---

[32] Примечания: 32

Сам самим собою, вечно один и единственный (*греч.*) (Платон. Пир, 211).

мне читать массу тех мистических сочинений, которые обыкновенно считаются мусором ранней германской литературы. Эти сочинения, по непонятной для меня причине, были любимым и постоянным предметом ее занятий, а что со временем они сделались тем же и для меня — это следует приписать простому, посильному влиянию привычки и примера.

Если не ошибаюсь, мой рассудок в этом не играл существенной роли. Или я мало знаю себя, или мои взгляды были вовсе не идеалистического характера, и мистицизм, которым я питался, не положил никакого отпечатка на мои поступки или дела. Убежденный в этом, я всецело отдался руководству жены и вступил, не колеблясь, в круг ее занятий. И вот, когда я вчитывался в запретные страницы, когда Морэлла клала свою холодную руку на мою и извлекала из пепла мертвой философии какие-нибудь тихие, странные слова, необычайный смысл которых как бы огнем запечатлевался в моей памяти, я чувствовал, что во мне загорается запретный дух. Итак, час за часом я сидел возле нее, наслаждаясь музыкой ее голоса, пока, наконец, его мелодия не принимала оттенка ужаса, и на мою душу упадала тень. Я бледнел и внутренно содрогался при

этих неземных звуках. И таким образом радость постепенно переходила в ужас, самое прекрасное превращалось в отвратительнейшее, и Гиннон становился Геенной.

Бесполезно передавать в точности содержание вопросов, которые, под влиянием упомянутых книг, составляли столь долгое время почти единственный предмет разговора между мною и Морэллой. Для людей, знакомых с тем, что может быть названо Богословской моралью, они и так ясны, а люди неученые все равно в них ничего не поймут. Дикий пантеизм Фихте, измененное учение пифагорейцев о возрождении, а в особенности доктрины тожества, развитые Шеллингом, были предметами обсуждения, более всего привлекавшими Морэллу, любившую уноситься в область фантазии. Локк, по-моему, справедливо определяет так называемое индивидуальное тожество, как заключающееся в незыблемости индивидуального разума. А раз мы называем личностью мыслящее существо, одаренное разумом, и раз есть сознание, всегда сопровождающее мышление, то именно они делают нас нами самими, отличая от прочих мыслящих существ и доставляя нам индивидуальное тожество. Но principium individuationis — понятие о тожестве,

которое со смертью исчезает или не исчезает навеки, всегда представлялось для меня вопросом чрезвычайно интересным, не столько по связанным с ним запутанным и интересным выводам, сколько по особенному возбуждению, с которым относилась к нему Морэлла.

Но настало время, когда таинственность моей жены стала тяготить меня, как какие-то чары. Я не мог дольше переносить прикосновения ее бледных пальцев, тихого звука ее мелодичного голоса, блеска ее печальных глаз. И она знала все это, но не возмущалась: она, по-видимому, замечала мою слабость или безумие и, улыбаясь, называла это роком. Она, по-видимому, знала также неизвестную мне причину изменения в моем отношении к ней, но ничем не намекнула на нее. Но она была женщина — и с каждым днем увядала. По временам красные пятна не сходили с ее щек, и голубые жилки на висках выступали все яснее. Минутами сердце смягчалось во мне от жалости, но, встретив взгляд ее глубоких глаз, душа моя смущалась, и я чувствовал головокружение, как человек, смотрящий в страшную бездонную пропасть.

Нужно ли говорить, что я с страстным, всепоглощающим нетерпением ожидал смерти

Морэллы? Я ждал ее; но хрупкий дух крепко держался за свою бренную оболочку в течение многих дней, недель и томительных месяцев, так что мои измученные нервы взяли верх над духом, и отсрочка стала бесить меня, и, полный адской злобы, я проклинал дни и часы и горькие минуты, которые, казалось, все удлинялись по мере того, как нежная жизнь угасала, подобно теням умирающего дня.

Но в один осенний вечер, когда ветры покоились в небесах, Морэлла призвала меня к своей постели. Над землей стоял густой туман, вода сияла теплым блеском, и как будто радуга с неба упала на роскошную октябрьскую листву леса.

— Это день из дней, — сказала она, когда я подошел, — день всех дней для жизни или смерти. Прекрасный день для сынов земли и жизни, а еще более прекрасный для дочерей неба и смерти! — Я поцеловал ее в лоб, а она продолжала: — Я умираю, но все же буду жить.

— Морэлла!

— Не было таких дней, когда ты мог бы любить меня, но ту, которую ты отвергал при жизни, ты будешь обожать после смерти.

— Морэлла!

— Повторяю: я умираю. Но во мне таится залог

привязанности — о, какой слабый! — которую ты питал ко мне, Морэлле. И когда мой дух отлетит, ребенок — твой ребенок и мой, Морэллы, — будет жить. Но твоя жизнь будет жизнью скорби — скорби, которая самое долговечное из ощущений, как кипарис самое долговечное из деревьев. Часы твоего счастья прошли; радость не повторяется два раза в жизни, как розы Пешта не цветут два раза в году. Ты не будешь уже наслаждаться жизнью, а будешь носить с собой свой саван на земле, как мусульмане — в Мекке.

— Морэлла! — закричал я. — Морэлла, как ты знаешь это?

Но она отвернулась, легкая дрожь пробежала по ее членам, и она умерла. Никогда я более не слыхал ее голоса.

Но, как она предсказала, ребенок, которому она дала жизнь, умирая, который начал дышать, когда мать испустила последний вздох, ее ребенок, дочь, осталась в живых. Она развивалась странно, как физически, так и умственно, и была вылитым портретом умершей. Я любил ее горячее, чем когда-либо думал, что могу любить земное существо.

Но скоро, однако, безоблачное небо этой чистой привязанности омрачилось: уныние, страх

и печаль заволокли его своими тучами. Я говорил, что ребенок развивался странно духом и телом. Странен действительно был быстрый рост девочки, но ужасны — о, как ужасны! — были тревожные мысли, роившиеся в моей голове, когда я наблюдал за ее умственной жизнью. И могло ли быть иначе, когда я ежедневно открывал в миросозерцании ребенка силу и зрелость ума взрослой женщины? Когда с детских уст слетали уроки житейской мудрости и когда я ежечасно видел житейскую опытность или страсть зрелого возраста в ее больших задумчивых глазах? Когда все это стало ясно для моего встревоженного внимания, когда я уже не мог скрывать этого от самого себя или стряхнуть впечатления, от которых меня бросало в дрожь, удивительно ли, что страшное подозрение закралось мне в душу или что мысли мои обратились к ужасным рассказам и потрясающим теориям умершей Морэллы? Я укрыл от зорких людских глаз существо, обожать которое я был вынужден судьбой, и в строгом уединении своего дома с мучительным страхом следил за всем, что касалось возлюбленного существа.

И по мере того, как проходили годы, а я день за днем вглядывался в ее небесное, кроткое и

выразительное лицо, в ее развивающиеся формы, я с каждым днем открывал все новое и новое сходство в этом ребенке с ее матерью. И с каждым часом эти тени сходства сгущались, и тем они становились полнее, определеннее, зловещее. Сходство ее улыбки с улыбкой матери я мог бы еще перенести, но меня пугала их полная тожественность; мог я перенести и сходство ее глаз с глазами Морэллы, но они слишком часто заглядывали в глубину моей души с тем же напряженным, смущающим выражением, как глаза Морэллы. И в очертаниях высокого лба, и в завитках шелковистых волос, и в бледных пальцах, скрывавшихся в них, и в грустном, мелодичном звуке ее голоса, а главное, в фразах и выражениях умершей на устах любимой и живущей я находил пищу для пожирающих мыслей и страха, для червя, не хотевшего умереть. Таким образом прошло два пятилетия ее жизни, и дочь моя все еще оставалась безымянной на земле. «Дитя мое» или «любовь моя» были обыкновенно обращениями любящего отца, а строгое уединение, в котором она росла, исключало общение с другими людьми. Имя Морэллы умерло вместе с нею. Я никогда не говорил с дочерью о матери — это было невозможно. И за короткое время своего

существования девочка не получала других впечатлений из внешней жизни, кроме тех, которые доставлял ей тесный круг ее семьи. Наконец мне в моем нервно-напряженном состоянии пришла в голову мысль о крещении, как об избавлении от ужасов моей судьбы. Но и при самом крещении я колебался, каким именем назвать свою дочь. Много имен красавиц и умных женщин современности и древности, родной страны и чужих земель просились на язык, вместе с именами милых, счастливых и добрых… Что же побудило меня потревожить память погребенной покойницы? Какой демон заставил меня произнести это имя, при одном воспоминании о котором что-то заставляло кровь хлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил в тайниках моей души, когда в тусклом полусвете, в безмолвии ночи я шепнул святому отцу имя Морэлла. Какой более чем адский дух исказил черты моего ребенка и покрыл их смертной тенью, когда, вздрогнув при этом едва слышном звуке, она обратила свои блестящие глаза от земли к небу и упала на темные плиты нашего фамильного склепа, отвечая: «Я здесь!»

Явственно, холодно, с спокойной отчетливостью прозвучали эти простые слова в моих ушах

и, подобно расплавленному свинцу, шипя, проникли в мой мозг. Пройдут годы, но память об этом мгновении никогда не изгладится. Хотя я и не позабыл цветы и вино, но цикута и кипарис покрывали меня денно и нощно своей тенью. Я потерял сознание времени и места, звезды моей судьбы погасли в небесах, вся земля погрузилась во мрак, обитатели ее проходили мимо меня как скользящие тени, и между ими всеми я видел одну только Морэллу. Небесные ветры доносили до моего слуха один только звук, и волны морские шептали вечно: Морэлла. Но она умерла, я собственными руками снес ее в могилу — и захохотал долгим, горьким смехом, когда не нашел следов первой Морэллы в том склепе, куда опустил вторую.

Лигейя

И если кто не умирает, это от могущества воли.
Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества?
Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью.
И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля.

***Джозеф Гленвилл*[33]**

Клянусь, я не могу припомнить, как, когда или даже в точности где я узнал впервые леди Лигейю. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от множества страданий, быть может, я не в силах припомнить этого теперь, потому что на самом деле необыкновенные качества моей возлюбленной, ее исключительные знания, особенный и такой мирный оттенок ее красоты и полное чар захватывающее красноречие ее мелодичного грудного голоса прокрадывались в

---

[33] Примечания: 33

Гленвилл Джозеф (1636–1680) — английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики» (1661).

мое сердце так незаметно, с таким постепенным упорством, что я и не заметил этого, не узнал. Да, но все же мне чудится, что я встретил ее впервые, и встречал много раз потом, в каком-то обширном, старинном городе, умирающем на берегах Рейна. Она, конечно, говорила мне о своем происхождении. Что ее род был очень древним, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Лигейя! Лигейя! Погруженный в такие занятия, которые более, чем что-либо иное, могут, по своей природе, убить впечатления внешнего мира, я чувствую, как одного этого нежного слова — Лигейя — достаточно, чтобы предо мною явственно предстал образ той, кого уже больше нет. И теперь, пока я пишу, во мне вспыхивает воспоминание, что я никогда не знал фамильного имени той, которая была моим другом и невестой и сделалась потом товарищем моих занятий и наконец супругой моего сердца. Было ли это прихотливым желанием моей Лигейи? Или то было доказательством силы моего чувства, что я никогда не предпринимал никаких исследований по этому поводу? Или, скорее, не было ли это моим собственным капризом, моим романтическим жертвоприношением на алтарь самого страстного преклонения? Я только неясно помню самый факт, — удивительно

ли, что я совершенно забыл об обстоятельствах, обусловивших или сопровождавших его? И если действительно тот дух, который назван Романом, если эта бледная, туманнокрылая Аштофет языческого Египта председательствовала, как говорят, на свадьбах, сопровождавшихся мрачными предзнаменованиями, нет сомнения, что она председательствовала на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего память моя не ошибается. Это внешность Лигейи. Высокого роста, Лигейя была тонкой, в последние дни даже исхудалой. Тщетно было бы пытаться описать величественность, спокойную непринужденность всех ее движений, непостижимую легкость и эластичность ее поступи. Она приходила и уходила точно тень. Никогда я не слыхал, что она входит в мой рабочий кабинет, я только узнавал об этом, когда она касалась моего плеча своею словно выточенной из мрамора рукой, — я с наслажденьем узнавал об этом, слыша нежный звук ее грудного голоса. Ни одна девушка в мире не могла сравняться с нею красотой лица. Это был какой-то лучистый сон, навеянный опиумом, воздушное и душу возвышающее видение, в котором было больше безумной красоты, больше божественного очарования, чем в тех фантасти-

ческих снах, что парили над спящими душами Делосских дочерей. Однако черты ее лица не отличались той правильностью, почитать которую в классических созданиях язычников мы научены издавна и напрасно. «Нет изысканной красоты, — говорит Бэкон, лорд Веруламский, справедливо рассуждая о всех разнородных формах и видах красоты, — без некоторой странности в соразмерности частей». Я видел, что у Лигейи не было классической правильности в чертах, я понимал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что много было «странности», проникавшей ее, и все же я тщетно пытался открыть какую-либо неправильность и подробно проследить мое собственное представление «странного». Я всматривался в очертания высокого и бледного лба — он был безукоризнен; но как бездушно это слово в применении к величавости такой божественной! Белизна кожи, не уступающая чистейшей слоновой кости, пышная широта и безмятежность, легкий выступ над висками; и потом эти роскошные локоны цвета воронова крыла, с природными завитками, с отливом, вполне оправдывающим силу гомеровского эпитета «гиацинтовый!». Я смотрел на тонкие очертания носа, и нигде, за

исключением изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же чудесная гладкая поверхность, тот же еле заметный выступ, приближающийся к типу орлиного, те же гармонично изогнутые брови, говорящие о свободной душе. Я смотрел на нежный рот. Он был поистине торжеством всего неземного: очаровательная верхняя губа, короткая и приподнятая, сладострастная дремота нижней, ямочки, которые всегда играли, и цвет, который говорил, зубы, отражавшие с блеском удивительным каждый луч благословенного света, падавшего на них и разгоравшегося мирной и ясной улыбкой. Я размышлял о форме подбородка — и здесь также находил грацию широты, нежность и пышность, полноту и духовность эллинскую, дивное очертание, которое бог Аполлон лишь во сне открыл Клеомену, гражданину афинскому. И потом я пристально смотрел в самую глубь больших глаз Лигейи.

Для глаз мы не находим моделей в отдаленной древности. Быть может, именно в глазах моей возлюбленной скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Мне кажется, они были гораздо больше, чем глаза обыкновенного смертного. Продолговатые, они были длиннее,

чем газельи глаза, отличающие племя, что живет в долине Нурджагад. Но только временами — в моменты высшего возбуждения — эта особенность становилась резко заметной в Лигейе. И в подобные моменты ее красота — быть может, это только так казалось моей взволнованной фантазии — была красотою существ, живущих в небесах или по крайней мере вне земли, — красотою легендарных Гурий Турции. Цвет зрачков был лучезарно-черным, и прекрасны были эти длинные агатовые ресницы. Брови, несколько изогнутые, были такого же цвета. Однако «странность», которую я находил в глазах, заключалась не в форме, не в цвете, не в блистательности черт, она крылась в выражении. О, как это слово лишено значения! За этим звуком, как бы теряющимся в пространстве, скрывается наше непонимание целой бездны одухотворенности. Выражение глаз Лигейи! Как долго, целыми часами, я размышлял об этом! В продолжение летних ночей, от зари до зари, я старался измерить их глубину! Что скрывалось в зрачках моей возлюбленной? Что-то более глубокое, чем колодец Демокрита! Что это было? Я сгорал страстным желанием найти разгадку. О, эти глаза! Эти большие, эти блестящие, эти божественные сферы! Они стали

для меня двумя созвездными близнецами Леды, а я для них — самым набожным из астрологов.

Среди многих непостижимых аномалий, указываемых наукой о духе, нет ни одной настолько поразительной, как тот факт — никогда, кажется, никем не отмеченный, — что при усилиях воссоздать в памяти что-нибудь давно забытое мы часто находимся на самом краю воспоминания, не будучи, однако, в состоянии припомнить. И подобно этому, как часто, отдаваясь упорным размышлениям о глазах Лигейи, я чувствовал, что я близок к полному познанию их выражения — я чувствовал, что вот сейчас я его достигну, — но оно приближалось, и, однако же, не было всецело моим — и в конце концов совершенно исчезало! И (как странно, страннее всех странностей!) я находил в самых обыкновенных предметах, меня окружавших, нить аналогии, соединявшую их с этим выражением. Я хочу сказать, что после того, как красота Лигейи вошла в мою душу и осталась там на своем алтаре, я не раз получал от предметов материального мира такое же ощущение, каким всегда наполняли и окружали меня ее большие лучезарные глаза. И, однако же, я не мог определить это чувство, или точно проследить его, или даже всегда иметь о нем ясное представ-

ление. Повторяю, я иногда вновь испытывал его, видя быстро растущую виноградную лозу, смотря на ночную бабочку, на мотылька, на куколку, на поспешные струи проточных вод. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Я чувствовал его во взглядах некоторых людей, находившихся в глубокой старости. И есть одна или две звезды на небе (в особенности одна, звезда шестой величины, двойная и изменчивая, находящаяся близ большой звезды в созвездии Лиры), при созерцании ее через телескоп я испытывал это ощущение. Оно охватывало меня, когда я слышал известное сочетание звуков, исходящих от струнных инструментов, и нередко когда я прочитывал в книгах ту или иную страницу. Среди других бесчисленных примеров я хорошо помню один отрывок из Джозефа Глэнвилла, который (быть может, по своей причудливости — кто скажет?) каждый раз при чтении давал мне это ощущение: «И если кто не умирает, это от могущества воли. Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества? Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью. И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля».

Долгие годы и последовательные размышления

дали мне возможность установить некоторую отдаленную связь между этим отрывком из английского моралиста и известной чертой в характере Лигейи. Своеобразная напряженность в мыслях, в поступках, в словах являлась у нее, быть может, результатом или, во всяком случае, показателем той гигантской воли, которая, за время наших долгих и тесных отношений, могла бы дать и другое, более непосредственное указание на себя. Из всех женщин, которых я когда-либо знал, Лигейя, на вид всегда невозмутимая и ясная, была терзаема самыми дикими коршунами неудержимой страсти. И эту страсть я мог измерить только благодаря чрезмерной расширенности ее глаз, которые пугали меня и приводили в восторг, благодаря магической мелодичности, ясности и звучности ее грудного голоса, отличавшегося чудесными модуляциями, и благодаря дикой энергии ее зачарованных слов, которая удваивалась контрастом ее манеры говорить.

Я упоминал о познаниях Лигейи, действительно они были громадны — такой учености я никогда не видал в женщине. Она глубоко проникла в классические языки, и, насколько мои собственные знания простирались на языки

современной Европы, я никогда не видал у нее пробелов. Да и вообще видел ли я когда-нибудь, чтоб у Лигейи был пробел в той или иной отрасли академической учености, наиболее уважаемой за свою наибольшую запутанность?

Как глубоко, как странно поразила меня эта единственная черта в натуре моей жены, как приковала она мое внимание именно за этот последний период! Я сказал, что никогда не видел такой учености ни у одной женщины, но существует ли вообще где-нибудь человек, который последовательно и успешно охватил бы всю широкую сферу морального, физического и математического знания? Я не видал раньше того, что теперь вижу ясно, не замечал, что Лигейя обладала познаниями гигантскими, изумительными; все же я слишком хорошо чувствовал ее бесконечное превосходство сравнительно со мной и с доверчивостью ребенка отдался ее руководству и шел за ней через хаос метафизических исследований, которыми я с жаром занимался в первые годы нашего супружества. С каким великим торжеством, с каким живым восторгом, с какой идеальной воздушностью надежды, я чувствовал, что моя Лигейя склонялась надо мною в то время, как я был погружен в области знания столь мало

отыскиваемого — еще менее известного, — и предо мною постепенно раскрывались чудесные перспективы, пышные и совершенно непочатые, и, идя по этому девственному пути, я должен был наконец достичь своей цели, прийти к мудрости, которая слишком божественна и слишком драгоценна, чтобы не быть запретной!

Сколько же было скорби в моем сердце, когда, по истечении нескольких лет, я увидал, что мои глубоко обоснованные надежды вспорхнули, как птицы, и улетели прочь! Без Лигейи я был беспомощным ребенком, который в ночном мраке ощупью отыскивает свою дорогу и не находит. Лишь ее присутствие, движения ее ума могли осветить для меня живым светом тайны трансцендентальности, в которые мы были погружены; не озаренная лучистым сиянием ее глаз, вся эта книжная мудрость, только что бывшая воздушно-золотой, делалась тяжелее, чем мрачный свинец. Эти чудесные глаза блистали все реже и реже над страницами, наполнявшими меня напряженными размышлениями. Лигейя заболела. Ее безумные глаза горели сияньем слишком лучезарным; бледные пальцы, окрасившись краской смерти, сделались прозрачно-восковыми; и голубые жилки обрисовывались

на белизне ее высокого лба, то возвышаясь, то опускаясь, при каждой самой слабой перемене ее чувств. Я видел, что ей суждено умереть, и в мыслях отчаянно боролся с свирепым Азраилом. К моему изумлению, жена моя, объятая страстью, боролась с еще большей энергией. В ее суровой натуре было много такого, что заставляло меня думать, что к ней смерть должна была прийти без обычной свиты своих ужасов, но в действительности было не так. Слова бессильны дать хотя бы приблизительное представление о том страстном упорстве, которое она выказала в своей борьбе с Тенью. Я стонал в тоске при виде этого плачевного зрелища. Мне хотелось бы ее утешить, мне хотелось бы ее уговорить; но при напряженности ее безумного желания жить — жить, только бы жить — всякие утешения и рассуждения одинаково были верхом безумия. Однако же до самого последнего мгновения, среди судорожных пыток, терзавших ее гордый дух, ясность всех ее ощущений и мыслей внешним образом оставалась неизменной. Ее голос делался все глубже, все нежнее и как будто отдаленнее, но я не смел пытаться проникнуть в загадочный смысл ее слов, которые она произносила так спокойно. Зачарованный каким-то исступленным

восторгом, я слушал эту сверхчеловеческую мелодию — и мой ум жадно устремлялся к надеждам и представлениям, которых ни один из смертных доныне не знал никогда.

Что она меня любила, в этом я не мог сомневаться; и мне легко было понять, что в ее сердце любовь должна была царить не так, как царит заурядная страсть. Но только в смерти она показала вполне всю силу своего чувства. Долгие часы, держа мою руку в своей, она изливала предо мною полноту своего сердца, и эта преданность, более чем страстная, возрастала до обожания. Чем заслужил я блаженство слышать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в тот самый миг, когда она делала мне такие признания? Но я не в силах останавливаться на этом подробно. Я скажу только, что в этой любви, которой Лигейя отдалась больше, чем может отдаться женщина, в любви, которая, увы, была незаслуженной, дарованной совершенно недостойному, я увидал наконец источник ее пламенного и безумного сожаления о жизни, убегавшей теперь с такою быстротой. Именно это безумное желание, эту неутолимую жажду жить — только бы жить — я не в силах изобразить, не в силах найти для этого ни одного

слова, способного быть красноречивым.

В глубокую полночь, в ту ночь, когда она умерла, властным голосом подозвав меня к себе, она велела мне повторить стихи, которые сложились у нее в уме за несколько дней перед этим. Я повиновался ей. Вот они:

Во тьме безутешной – блистающий праздник,
Огнями волшебный театр озарен!
Сидят серафимы в покровах и плачут,
И каждый печалью глубокой смущен,
Трепещут крылами и смотрят на сцену,
Надежда и ужас проходят как сон,
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,
Заоблачной музыки слышится стон.

Имея подобие Господа Бога,
Снуют скоморохи туда и сюда;
Ничтожные куклы приходят, уходят,
О чем-то бормочут, ворчат иногда,
Над ними нависли огромные тени,
Со сцены они не уйдут никуда, —
И крыльями Кондора веют бесшумно,

С тех крыльев незримо слетает Беда!

Мишурные лица! Но знаешь, ты знаешь,
Причудливой пьесе забвения нет!
Безумцы за Призраком гонятся жадно,
Но Призрак скользит, как блуждающий свет;
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться
В исходную точку, в святилище бед;
И много Безумия в драме ужасной,
И Грех – в ней завязка, и Счастья в ней нет!

Но что это там? Между гаэров пестрых
Какая-то красная форма ползет
Оттуда, где сцена окутана мраком!
То червь, – скоморохам он гибель несет.
Он корчится! – корчится! – гнусною пастью
Испуганных гаэров алчно грызет,
И ангелы стонут, и червь искаженный
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухло – потухло – померкло сиянье!

Над каждой фигурой, дрожащей, немой,

Как саван зловещий, крутится завеса,

И падает вниз, как порыв грозовой.

И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,

Они утверждают, объятые тьмой,

Что эта трагедия Жизнью зовется,

Что Червь-Победитель – той драмы герой!

«О Боже мой, — почти вскрикнула Лигейя, быстро вставая и судорожно простирая руки вверх. — О Боже мой, о Небесный Отец мой! Неужели все это неизбежно? Неужели этот победитель не будет когда-нибудь побежден? Неужели мы не часть и не частица существа Твоего? Кто… кто знает тайны воли и ее могущества? Человек не уступил бы и ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля».

И потом, как бы истощенная этой вспышкой, она бессильно опустила свои бледные руки и торжественно вернулась на свое смертное ложе.

И когда замирали ее последние вздохи, на губах ее затрепетал неясный шепот. Я приник к ней и опять услыхал заключительные слова отрывка из Глэнвилла: «И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля!»

Она умерла, и, пригнетенный до самого праха тяжестью скорби, я не мог больше выносить пустынного уединения моего дома в этом туманном городе, умирающем на берегах Рейна. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем это выпадает на долю обыкновенных смертных. И вот, после нескольких месяцев утомительного и бесцельного скитанья, я купил и частию привел в порядок полуразрушенное аббатство — не буду его называть — в одной из самых диких и наименее людных местностей живописной Англии. Мрачная и угрюмая величественность здания, почти дикий характер поместья, грустные и освященные временем воспоминания, связанные с тем и с другим, имели в себе много чего-то, что гармонировало с чувством крайней бесприютности, забросившей меня в эту отдаленную и безлюдную местность. Оставив почти неизменным внешний вид аббатства, эти

руины, поросшие зеленью, которая свешивалась гирляндами, внутри здания я дал простор более чем царственной роскоши, руководясь какой-то ребяческой извращенностью, а быть может, и слабой надеждой рассеять мои печали. Еще в детстве у меня была большая склонность к таким фантазиям, и теперь они снова вернулись ко мне, как бы внушенные безумием тоски. Увы, я чувствую, как много начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и фантастических драпировках, в египетской резьбе, исполненной торжественности, в этих странных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах ковров, затканных золотом! Я сделался рабом опиума, и все мои занятия и планы приобрели окраску моих снов. Но я не буду останавливаться подробно на всем этом безумии. Я буду говорить только об одной комнате — да будет она проклята навеки! — о комнате, куда в момент затемнения моих мыслей я привел от алтаря свою новобрачную — преемницу незабвенной Лигейи, белокурую и голубоглазую леди Ровену-Трэванион-Тримэн.

Нет ни одной архитектурной подробности, нет ни одного украшения в этой свадебной комнате, которых я не видел бы теперь совершенно явственно. Каким образом надменная семья моей

новобрачной, в своей жажде золота, решилась допустить, чтобы эта девушка, дочь так горячо любимая, перешагнула через порог комнаты, украшенной таким убранством? Я сказал, что хорошо помню все подробности обстановки, хотя память моя самым печальным образом теряет воспоминания высокой важности; а в этой фантастической роскоши не было никакой системы, никакой гармонии, на которую воспоминание могло бы опереться. Являясь частью высокой башни аббатства, укрепленного как замок, комната эта представляла из себя пятиугольник и была очень обширна. Всю южную сторону пятиугольника занимало единственное окно — громадное и цельное венецианское стекло, с окраской свинцового цвета, так что лучи солнца или месяца, проходя через него, мертвенно озаряли предметы внутри. Над верхней частью этого окна распространялась сеть многолетних виноградных ветвей, которые цеплялись за массивные стены башни. Дубовый потолок, смотревший мрачно, был необычайно высок, простирался сводом и тщательно был украшен инкрустациями самыми странными и вычурными, в стиле наполовину готическом, наполовину друидическом. В глубине этого угрюмого свода, в самом центре, висела

на единственной цепи, сделанной из продолговатых золотых колец, громадная лампа из того же металла, в форме кадильницы, украшенная сарацинскими узорами и снабженная прихотливыми отверстиями таким образом, что через них, как бы живые, скользили и извивались змеиные отливы разноцветных огней.

В разных местах кругом стояли там и сям оттоманки и золотые канделябры, в восточном вкусе, и, кроме того, здесь была постель, брачное ложе в индийском стиле, низкое, украшенное изваяниями из сплошного эбенового дерева, с балдахином, имевшим вид похоронного покрова. В каждом из углов комнаты возвышался гигантский саркофаг из черного гранита, с царских могил Луксора; их древние крышки были украшены незабвенными изображениями. Но главная фантазия, царившая надо всем, крылась, увы, в обивке этого покоя. Высокие стены, гигантские и даже непропорциональные, сверху донизу были обтянуты массивной тяжелой материей, падавшей широкими складками, — эта материя виднелась и на полу, как ковер, и на оттоманках, как покрышка, и на эбеновой кровати, как балдахин, и на окне, как пышные извивы занавесей, частию закрывавших окно. Материя

была богато заткана золотом. На неровных промежутках она вся была испещрена арабескными изображеньями, которые имели приблизительно около фута в диаметре и узорно выделялись агатово-черным цветом. Но эти изображения являлись настоящими арабесками лишь тогда, когда на них смотрели с одного известного пункта. Посредством приема, который теперь очень распространен и следы которого можно найти в самой отдаленной древности, они были сделаны таким образом, что меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они просто представлялись чем-то уродливым, по мере приближения к ним этот характер постепенно исчезал, и мало-помалу посетитель, меняя свое место в комнате, видел себя окруженным бесконечной процессией чудовищных образов, подобных тем, которые родились в суеверных представлениях Севера, или тем, что возникали в преступных сновидениях монахов. Фантасмагорический эффект в значительной степени увеличивался искусственным введением беспрерывного сильного течения воздуха из-за драпировок, дававшего всему отвратительное и беспокойное оживление.

В таких-то чертогах, в таком брачном покое, провел я с леди Тримэн нечестивые часы первого

месяца нашего брака, и провел без особенного беспокойства. Что жена моя боялась дикой переменчивости моего характера, что она избегала меня, что она любила меня далеко не пламенной любовью, этого я не мог не видеть, но все это доставляло мне скорее удовольствие, нежели что-либо иное. Я ненавидел ее ненавистью отвращения, более напоминающей демона, чем человека. Мои воспоминания убегали назад (о, с какой силой раскаяния!) к Лигейе, к возлюбленной, к священной, к прекрасной, к погребенной. Я упивался воспоминаниями об ее чистоте, об ее мудрости, о благородной воздушности ее ума, о ее страстной, ее полной обожания любви. И вот мой дух вспыхнул и весь возгорелся пламенем сильнейшим, чем огонь ее собственной души. Объятый экстазом снов, навеянных опиумом (ибо я обыкновенно находился во власти этого зелья), я испытывал желание громко восклицать, произносить ее имя в молчании ночи, или днем наполнял звуками дорогого имени тенистые уголки долин, как будто этой дикой энергией, этой торжественной страстью, неутолимой жаждой моей тоски об усопшей, я мог возвратить ее к путям, которые она покинула — о, могло ли это быть, что она навеки их покинула — на земле?

В начале второго месяца нашего брака леди Ровена была застигнута внезапной болезнью, и выздоровление шло очень медленно. Лихорадка, снедавшая ее по ночам, была беспокойной; и, находясь в возмущенном состоянии полудремоты, она говорила о звуках и о движениях, которые возникали то здесь, то там в этой комнате, составлявшей часть башни, что я, конечно, мог приписать только расстройству ее фантазии, или, быть может, фантасмагорическому влиянию самой комнаты. Но с течением времени она стала выздоравливать, наконец, совсем поправилась. Однако через самый короткий промежуток времени вторичный припадок, еще более сильный, снова уложил ее в постель; и после него ее здоровье, всегда слабое, никак не могло восстановиться. С этого времени болезнь приняла тревожный характер, и припадки, возобновляясь, становились все более угрожающими, как бы насмехаясь и над знаниями, и над тщательными усилиями врачей. По мере того как увеличивался этот хронический недуг, который, по-видимому, настолько овладел всем ее существом, что, конечно, его невозможно было устранить обычными человеческими средствами, я не мог не заметить подобного же возрастания ее нервной

раздражительности и возбужденности до такой степени, что самые обыкновенные вещи стали внушать ей страх. Она опять начала говорить, и на этот раз более часто и с большим упорством, о звуках — о легких звуках — и о необычайных движениях среди занавесей, о чем она уже говорила раньше.

Однажды ночью, в конце сентября, она с большой настойчивостью и с большим, нежели обыкновенно, волнением старалась обратить мое внимание на то, что вызывало в ней тревогу. Она только что очнулась от своего беспокойного сна, и я, будучи исполнен наполовину беспокойства, наполовину смутного страха, следил за выражением ее исхудалого лица. Я сидел близ эбеновой кровати, на одной из индийских оттоманок. Больная слегка приподнялась и говорила настойчивым тихим шепотом о звуках, которые она только что слышала, но которых я не мог услыхать, о движениях, которые она только что видела, но которых я не мог заметить. Ветер бешено бился за обивкой, я хотел объяснить ей (признаюсь, я сам не мог вполне этому верить), что это едва различимое дыхание и эти легкие изменения фигур на стенах являлись самым естественным действием обычного течения ветра.

Но смертельная бледность, распространившаяся по ее лицу, доказывала мне, что все мои усилия успокоить ее были бесплодны. Она, по-видимому, теряла сознание, а между тем вблизи не было ни одного из слуг, кого бы я мог позвать. Вспомнив, где находился графин с легким вином, которое было прописано ее врачами, я поспешно устремился через комнату, чтобы принести его. Но когда я вступил в полосу света, струившегося от кадильницы, два обстоятельства поразили и приковали к себе мое внимание. Я почувствовал, как что-то осязательное, хотя и невидимое, прошло, слегка коснувшись всего моего существа; и я увидел, что на золотом ковре, в самой середине пышного сияния, струившегося от кадильницы, находилась тень — слабая, неопределенная тень ангельского вида, — такая, что она как бы являлась тенью тени. Но я был сильно опьянен неумеренной дозой опиума, и не обратил особенного внимания на эти явления, и не сказал о них ни слова Ровене. Отыскав вино, я вернулся на прежнее место, налил полный бокал и поднес его к губам изнемогавшей леди. Ей, однако, сделалось немного лучше, она сама взяла бокал, а я опустился на оттоманку близ нее, не отрывая от нее глаз. И тогда, совершенно явственно, я

услышал легкий шум шагов, ступавших по ковру и близ постели; и в следующее мгновение, когда Ровена подняла бокал к своим губам, я увидел, или, быть может, мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, точно из какого-то незримого источника, находившегося в воздухе этой комнаты, упало три-четыре крупные капли блестящей рубиново-красной жидкости. Если я это видел — Ровена не видала. Без колебаний она выпила вино, и я ни слова не сказал ей об обстоятельстве, которое в конце концов должно было являться не чем иным, как внушением возбужденного воображения, сделавшегося болезненно-деятельным благодаря страху, который испытывала леди, а также благодаря опиуму и позднему часу.

Не могу, однако, скрыть, что, тотчас после падения рубиновых капель, в болезни моей жены произошла быстрая перемена к худшему; так что на третью ночь ее слуги были заняты приготовлением к ее похоронам, а на четвертую я сидел один, около ее окутанного в саван тела, в этой фантастической комнате, которая приняла ее как мою новобрачную. Безумные виденья, порожденные опиумом, витали предо мной, подобно теням. Я устремлял беспокойные взоры на саркофаги, находившиеся в углах комнаты, на изменчивые

фигуры, украшавшие обивку, и на сплетающиеся переливы разноцветных огней кадильницы. Повинуясь воспоминаниям о подробностях той минувшей ночи, я взглянул на освещенное место пола, которое находилось под сияньем кадильницы, на ту часть ковра, где я видел слабые следы тени. Однако их больше не было; и, вздохнув с облегчением, я обратил свои взоры к бледному и строгому лицу, видневшемуся на постели. И вдруг воспоминания о Лигейе целым роем охватили меня, и сердце мое снова забилось неудержимо и безумно, опять почувствовав всю несказанную муку, с которой я смотрел тогда на нее, вот так же окутанную саваном. Ночь убывала; а сердце мое все было исполнено горьких мыслей о моей единственной бесконечно любимой возлюбленной, и я продолжал смотреть на тело Ровены.

Было, вероятно, около полуночи, быть может, несколько раньше, быть может, несколько позже, я не следил за временем, как вдруг тихое рыданье, еле слышное, но совершенно явственное, внезапно вывело меня из полудремотного состояния. Я чувствовал, что оно исходило от эбенового ложа — от ложа смерти. Я прислушался, охваченный точно агонией суеверного страха, — но звук не повторился. Я устремил пристальный взгляд,

старяясь открыть какое-нибудь движение в теле, но не мог заметить ни малейшего его следа. Но не может быть, что я ошибся. Я слышал этот звук, хотя и слабый, и душа моя пробудилась во мне. Весь охваченный одним желанием, я упорно смотрел на недвижное тело. Долгие минуты прошли, прежде чем случилось что-нибудь, что могло бы разъяснить эту тайну. Наконец стало очевидно, что слабая, очень слабая, еле заметная краска румянца вспыхнула на щеках Ровены и наполнила маленькие жилки на ее опущенных веках. Я почувствовал, что сердце мое перестало биться, и члены мои как бы окаменели, повинуясь чувству неизреченного страха и ужаса, для которого на языке человеческом нет достаточно энергического выражения. Однако сознание долга в конце концов возвратило мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились — что Ровена была еще жива. Нужно было немедленно принять какие-нибудь меры; но башня была изолирована от той части здания, где жила прислуга, — у меня не было никаких средств обратиться за помощью, не оставляя комнаты, оставить же комнату, хотя бы на несколько мгновений, я не мог решиться. Я начал один, собственными усилиями, делать попытки вер-

нуть назад еще трепетавший, еще колебавшийся дух. Между тем через самое непродолжительное время стало очевидно, что произошел возврат видимой смерти; краска угасла на щеках и веках, сменившись бледностью более мертвой, чем белизна мрамора; губы вдвойне исказились ужасной судорогой смерти; вся поверхность тела быстро сделалась холодной и отвратительно скользкой; и тотчас снова появилась обычная полная окоченелость. Весь дрожа, я кинулся к ложу, откуда был так внезапно исторгнут, и снова отдался пламенным снам и мечтаньям о Лигейе.

Таким образом прошел час, и (могло ли это быть?) я снова услыхал какой-то смутный звук, исходивший из того места, где стояло эбеновое ложе. Я стал прислушиваться — в состоянии крайнего ужаса. Звук повторился — это был вздох. Бросившись к телу, я увидел — явственно увидел — трепет на губах. Минуту спустя они слегка раздвинулись, открывая блестящую линию жемчужных зубов. Крайнее изумление боролось теперь в моей груди с глубоким ужасом, который царствовал в ней раньше безраздельно. Я чувствовал, что в глазах у меня темнеет, что разум мой колеблется; лишь с помощью крайнего усилия мне удалось, наконец, принудить себя к

мерам, на которые чувство долга еще раз указало мне. Румянец пятнами выступил теперь на лбу, на щеках и на шее; заметная теплота распространилась по всему телу; было слышно слабое биение сердца. Леди была жива; и с удвоенным жаром я снова принялся за дело воскрешения. Я растирал и согревал виски и руки, принимал все меры, которые были мне внушены опытом, а также и моей немалой начитанностью в медицине. Все тщетно. Краска внезапно исчезла, пульс прекратился, губы приняли мертвенное выражение, и мгновение спустя к телу снова вернулась его ледяная холодность, синеватый оттенок, напряженная окоченелость, омертвелые очертанья, и все те чудовищные особенности, которые показывают, что труп много дней пролежал в гробу.

И снова я отдался виденьям и мечтам о Лигейе — и снова (удивительно ли, что я дрожу, когда пишу это?), снова до слуха моего донеслось тихое рыдание, с того места, где стояло эбеновое ложе. Но зачем я буду подробно описывать неописуемый ужас этой ночи? Зачем я буду рассказывать, как опять и опять, почти вплоть до серого рассвета, повторялась эта чудовищная драма оживания; как всякий раз она кончалась страшным возвратом к еще более мрачной и, по-видимому,

еще более непобедимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то незримым врагом и как за каждой новой борьбой следовало какое-то странное изменение в выражении трупа? Я хочу скорей кончить.

Страшная ночь почти уже прошла, и та, которая была мертвой, еще раз зашевелилась, и теперь более сильно, чем прежде, хотя она пробуждалась от смерти более страшной и безнадежной, чем каждое из первых умираний. Я уже давно перестал сходить с своего места и предпринимать какие-либо усилия, я неподвижно сидел на оттоманке, беспомощно отдавшись вихрю бешеных ощущений, среди которых крайний ужас являлся, может быть, наименее страшным, наименее уничтожающим. Тело, повторяю, зашевелилось, и теперь более сильно, чем прежде. Жизненные краски возникали на лице с необычайной энергией — члены делались мягкими, — и если бы не веки, которые были плотно сомкнуты, если бы не повязки и не покров, придававшие погребальный характер лицу, я мог бы подумать, что Ровена действительно совершенно стряхнула с себя оковы смерти. Но если, даже тогда, эта мысль не вполне овладела мной, я наконец не мог более в этом сомневаться, когда, поднявшись с ложа, спо-

тыкаясь, слабыми шагами, с закрытыми глазами, имея вид спящего лунатика, существо, окутанное саваном, вышло на середину комнаты.

Я не дрогнул, не двинулся, ибо целое множество несказанных фантазий, связанных с видом, с походкой, с движениями призрака, бешено промчавшись в моем уме, парализовали меня — заставили меня окаменеть. Я не двигался — я только смотрел на привидение. В мыслях моих был безумный беспорядок — неукротимое смятение. Возможно ли, чтобы передо мной стояла живая Ровена? Возможно ли, чтобы это была Ровена — белокурая голубоглазая леди Ровена-Трэванион-Тримэн? Почему, почему стал бы я в этом сомневаться? Повязка тяжело висела вокруг рта — но неужели же это не рот леди Тримэн? И щеки — на них был румянец, как в расцвете ее жизни — да, конечно, это прекрасные щеки живой леди Тримэн. И подбородок с ямочками, как в те дни, когда она была здорова, неужели это не ее подбородок? — но что это, она выросла за свою болезнь? Что за невыразимое безумие охватило меня при этой мысли? Один прыжок, и я был рядом с ней! Отшатнувшись от моего прикосновения, она уронила с своей головы развязавшийся погребальный покров, и тогда в волнующейся

атмосфере комнаты обрисовались ее длинные разметавшиеся волосы; они были чернее, чем вороновы крылья полночи! И тогда на этом лице медленно открылись глаза. «Так вот они, наконец, — воскликнул я громким голосом, — могу ли я ошибаться — вот они, громадные, и черные, и зачарованные глаза моей утраченной любви… леди… леди Лигейи!»

Шарль Бодлер. Эдгар По. Его жизнь и произведения

Посвящается Марии Клемм

Ангел, спускаясь ко мне с облаков,
Шепчет душе утешенья свои,
Но есть лекарство сильней его слов —
Это слова материнской любви.

Матери имя присвоено вам —
Вам это имя подходит одной.
В любящем сердце я выстроил храм,
Высекла смерть там своею рукой,
Милой Вирджинии давшей свободу,
Имя бесценное ваше на сводах.

Мать же родная, покинув давно
Всех нас, была просто матерью. Но
Вы во сто крат мне дороже, родней:
Вы мать любимой навеки моей,
А без любви к ней поэта душа

Больше не даст за себя и гроша[34].

* * *

...Верно молвить это слово
Научил его хозяин
В дни тяжелые, когда
Он преследуем был Роком,
И, в несчастье одиноком,
Вместо песни лебединой,
В эти долгие года,
Для него был стон единый
В эти грустные года —
Никогда, – уж больше
Никогда[35]*!*

Эдгар По, «Ворон»

И насмешливая судьба,
сидя на своем бронзовом троне,
Наполняет их легкие горькой желчью,

---

[34] Примечания: 34
Перевод Ю. Шигаровой. — *Примеч. ред.*

[35] Примечания: 35
Перевод К. Бальмонта.

И корчатся они в тисках нужды.

Теофиль Готье, «Тьма»

Я всегда ищу книги с широкими полями.

Эдгар По, «Маргиналии»

I

Недавно перед одним из наших судов предстал какой-то горемыка, у которого на лбу красовалась редкая и необычная татуировка: «Не везет!» Таким образом, он, словно книга название, носил над глазами девиз всей своей жизни, и последующий допрос доказал жестокую достоверность этой странной надписи. В истории литературы тоже есть подобные судьбы, истинные проклятия, и люди, в извилистых складках лба которых таинственными знаками высечено слово *невезение*. Слепой Ангел искупления хватает их и бичует со всей силы в назидание другим. И напрасно жизнь демонстрирует, что им присущи таланты, добродетели и обаяние. Общество предает таких людей какой-то особенной анафеме, порицая в них недостатки, ставшие результатом преследо-

ваний и гонений.

Чего только ни делал Гофман, чтобы обезоружить судьбу, и чего только ни предпринимал Бальзак, чтобы избежать своей доли! Неужели оно и впрямь существует, это дьявольское Провидение, которое с детской колыбельки готовит человеку беды и несчастья, которое, словно жертвы в римском амфитеатре, бросает одухотворенные, ангельские души во враждебную среду? Неужели есть души святые и преданные Богу, но обреченные идти к своей смерти и славе через собственную погибель? И неужели кошмар преисподней будет вечно донимать эти избранные сердца? Тщетно они сообразуются с миром, с его хитростями, с его благоразумием; они доведут свою предусмотрительность до вершин совершенства, перекроют все входы и выходы, занавесят окна матрасами, чтобы уберечься от шальных пуль, но Дьявол проберется в замочную скважину, совершенство станет слабым местом их доспехов, а высшее достоинство — ростком осуждения и проклятия.

Орел, чтобы их сокрушить, с высоты
небесного свода
сбросит на их непокрытые головы че-

репаху,

Ведь они неизбежно должны погибнуть.

Судьба вписана в саму их натуру, она мрачным блеском пылает в их взорах и жестах и циркулирует в венах с каждым кровяным тельцем.

Один писатель, наш современник, написал книгу, чтобы продемонстрировать, что поэт не мог найти достойное место ни в демократическом обществе, ни в аристократическом, ни при республике, ни при монархии — как умеренной, так и абсолютной. И кто смог ему достойно ответить? Сегодня я, в поддержку высказанного им мнения, создаю новый миф и добавляю к этому мартирологу еще одного святого: мне предстоит написать историю одного из них — прославленного, обуреваемого поэзией и страстями бедолаги, который, подобно многим другим, явился в этот мир, чтобы пройти путь гения среди низменных душ.

Какая страшная трагедия — жизнь Эдгара По! Его смерть, ужасная развязка, трагичность которой еще больше усиливается ее банальностью! Из всех прочитанных мною документов я вынес убежденность в том, что Соединенные Штаты для Эдгара По были одной огромной тюрьмой,

на которую он смотрел с лихорадочным возбуждением человека, рожденного, чтобы жить и дышать в более благоухающем мире — а не посреди освещаемого газом великого варварства, — и что его внутренняя, духовная жизнь поэта, да пусть даже и пьяницы, представляла собой одно бесконечное усилие, прилагаемое для того, чтобы выйти из-под влияния этой постылой атмосферы. Диктатура общественного мнения в демократических обществах безжалостна; не молите ее ни о милосердии, ни о снисхождении, ни о какой бы то ни было гибкости в применении ее законов к многочисленным, сложным и запутанным случаям нравственной жизни. Создается впечатление, что из нечестивой любви к свободе родилась новая тирания, тирания зверей, этакая «зоократия», своей свирепой бесчувственностью напоминающая идола Джаганатху[36]. Один биограф — человек славный и руководствующийся благими намерениями — заявит нам, что если бы По решил привести свой гений в порядок и воспользоваться творческими способностями в манере, более соответствующей американской земле, то стал бы состоятельным писателем, *а*

[36] Примечания: 36

Джаганатха — божество, которое в буддизме считается одним из воплощений Будды.

money making author[37]. Другой — наивный циник — скажет, что, каким бы гениальным ни был По, ему лучше было бы иметь всего лишь талант, потому как талант обратить в звонкую монету всегда намного легче, чем гениальность. Третий, друг поэта, властвовавший в газетах и журналах, признается, что работать с ним было трудно и что он был вынужден платить ему меньше других, потому что стиль его изложения слишком выходил за рамки обыденности и заурядности. Как говорил Жозеф де Местр: «Как это отдает лавкой!»

Некоторые пошли еще дальше — объединив на редкость тяжеловесное слабоумие духа и кровожадность мещанского лицемерия, они стали его наперебой оскорблять, а после скоропостижной кончины — грубо перемывать покойному кости. Особенно отличился г-н Руфус Грисуолд, который, если привести здесь мстительное выражение г-на Джорджа Грехема, совершил тогда «немеркнущее злодейство». По, вероятно, терзаемый мрачными предчувствиями скорого конца, назвал г-д Грисуолда и Уиллиса своими душеприказчиками, чтобы они привели в порядок его литературное

[37] Примечания: 37

A money making author (*англ.*) — дословно «писатель, делающий деньги».

наследие, описали жизнь и сохранили память о нем. Этот педагог-вампир долго поливал друга грязью в пространной, серой, пропитанной ненавистью статье, предварявшей собой посмертное издание произведений поэта. Неужели в Америке нет ордонанса, запрещающего собакам вход на кладбище? Что же касается г-на Уиллиса, то он, наоборот, доказал, что доброжелательность и благопристойность всегда идут рука об руку с подлинным духом, и что милосердие по отношению к нашим собратьям, являющееся моральным долгом, помимо прочего, представляет собой и императив вкуса.

Поговорите о По с американцем — он, вероятно, признает в нем гения, может, даже будет им гордиться; но при этом тоном сардонического превосходства, выдающим в нем человека положительного, расскажет вам о беспорядочной жизни поэта, о его перегаре, способном загореться от пламени свечи, о его привычках скитальца. Он скажет, что это был эксцентричный бродяга, который, словно сошедшая с орбиты планета, странствовал из Балтимора в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Филадельфию, из Филадельфии в Бостон, из Бостона в Балтимор, из Балтимора в Ричмонд. Но если эти прелюдии печальной истории тронут

ваше сердце и вы скажете, что, по всей видимости, виноват не только человек и что очень трудно думать и творить в стране, где существуют миллионы властителен, но нет ни аристократии, ни даже столицы в общепринятом смысле этого слова, вы увидите, как глаза его расширятся и станут метать молнии, на губах выступит пена нездорового патриотизма, и Америка, его устами, примется оскорблять Европу, свою старую мать, равно как и философию былых дней.

Повторяю, я пришел к убеждению, что Эдгар По и его родина не подходили друг другу. Соединенные Штаты представляют собой громадную инфантильную страну, питающую вполне естественную зависть к Старому Свету. Гордясь своим экономическим развитием, ненормальным и даже почти что чудовищным, этот новичок в истории человечества наивно верит во всемогущество промышленности; он, как и некоторые недалекие умы у нас, уверен в том, что в конечном счете она поглотит Дьявола. Какой же силой обладают там время и деньги! Кипучая экономическая деятельность, достигшая масштабов национального безумия, оставляет в умах очень мало места для вещей, не относящихся к категории земных. По, происходивший из хорошей

семьи и открыто заявлявший, что величайшее несчастье его страны заключается в отсутствии родовитой аристократии, ввиду того что среди народа, лишенного знати, культ Красоты обречен на вырождение, упадок и бесследное исчезновение, По, обвинявший своих сограждан, погрязших в дорогостоящей, кричащей роскоши, в том, что они проявляют все симптомы дурного вкуса, характерные для выскочек, По, считавший Прогресс, эту великую идею современности, чем-то вроде экстаза наивных простаков и называвший усовершенствование человеческого жилища шрамами разрушения и откровенной мерзостью, так вот, По в этой стране был умом на редкость одиноким. Он верил исключительно в нерушимое и вечное, в *self same*[38], и обладал — что в этом самовлюбленном обществе было жестокой привилегией! — здравым смыслом в духе Макиавелли, который, подобно сотканной из света колонне, идет впереди мудреца через пустыню истории.

Что бы подумал этот несчастный, если бы услышал, как некий теолог чувств в юбке из дружбы к роду человеческому отменяет ад, другой философ

[38] Примечания: 38

Self same (*англ.*) — многозначное выражение, которое в данном случае можно перевести как «тождественность, индивидуальность».

от арифметики предлагает систему гарантий в виде подписки за прекращение войны стоимостью в одно су с человека, как третьи ратуют за то, чтобы упразднить смертную казнь, а заодно и орфографию, т. е. совершить два вытекающих друг из друга безумства, — что бы он сказал, если бы услышал других малахольных, которые, склонив голову на ветру, сочиняют фантазии столь же бурные и неистовые, как та стихия, которая им их диктует? Если вы добавите к этому безупречному видению истины подлинную немощь в определенных обстоятельствах, аристократическую утонченность чувств, для которой какая-нибудь фальшивая нота была сущим наказанием, изысканный вкус, восставший против всего, кроме точных пропорций, и неутолимую любовь к Красоте, выросшую до масштабов патологической страсти, вам отнюдь не будет удивительно, что жизнь для такого человека неизбежно должна была стать адом и закончиться весьма плачевно; и вам останется лишь восхищаться тем фактом, что она смогла продлиться так долго.

II

Семья По была одной из самых уважаемых в Балтиморе. Дед поэта по материнской линии

во время Войны за независимость служил генерал-квартирмейстером, и Лафайет[39] очень высоко ценил его, считая своим другом. Во время своей последней поездки в США маркиз пожелал встретиться с его вдовой, чтобы выразить благодарность и признательность за добрую службу, которую ему сослужил ее муж. Прадед Эдгара женился на дочери английского адмирала Мак-Брайда, состоявшего в родстве с самыми знатными и благородными домами Англии. Давид По, отец поэта и сын генерала, воспылал неистовой страстью к английской актрисе Элизабет Арнольд, известной своей красотой, бежал с ней и вступил в брак. Чтобы теснее связать с ней свою судьбу, он тоже стал актером и вместе с женой выходил на подмостки различных театров в главных городах Юниона[40].

Супруги умерли в Ричмонде практически одновременно, оставив на произвол судьбы трех малолетних детей, в т. ч. Эдгара, и лишив их ка-

---

[39] Примечания: 39

Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Лафайет (1757–1834) — французский политический деятель, участник трех революций: Войны за независимость США, Великой французской революции и Июльской революции 1830 г.

[40] Примечания: 40

Юнион — название ряда городов США в штатах Айова, Кентукки, Миссури, Огайо и т. д.

ких-либо средств к существованию.

Эдгар По родился в Балтиморе в 1813 году. Эту дату я привожу с его собственных слов, которыми он опровергает утверждение Грисуолда о том, что появился на свет в 1811 г. Если романический дух, по выражению самого поэта, когда-то и председательствовал при рождении человека, — причем дух беспокойный и буйный, — то Эдгар По именно таким человеком и был. Это было истинное дитя авантюры и страсти. Г-н Аллан, живший в городе богатый торговец, проникся любовью к этому очаровательному, симпатичному мальчонке, и поскольку своих детей у него не было, усыновил его. С тех пор того стали звать Эдгаром Алланом По. Таким образом, он воспитывался в достатке и законной надежде на одно из тех состояний, которые придают характеру горделивую уверенность. Приемные родители взяли его с собой в путешествие по Англии, Шотландии и Ирландии, а перед возвращением домой оставили у доктора Брэнсби, содержавшего престижный пансион в Стоук-Ньюингтон неподалеку от Лондона. Сам По описал этот странный, построенный в старинном елизаветинском стиле дом, равно как и свою школьную жизнь, в рассказе «Вильям Вильсон». В 1822 году он вернулся в Ричмонд и

продолжил учебу в Америке, под руководством лучших в тех краях преподавателей. В университете Шарлотсвилля, куда По поступил в 1825 году, он отличался не только почти фантастическим интеллектом, но и пагубным кипением страстей — типично американское преждевременное взросление, которое в конечном счете стало причиной его отчисления. По ходу следует заметить, что По уже в Шарлотсвилле проявил исключительные способности к физике и математике. Позже, в своих сюрреалистичных рассказах, он будет широко ими пользоваться, превратив в самые неожиданные средства выражения. Однако у меня есть все основания полагать, что главное внимание он уделял отнюдь не таким произведениям и был недалек от того — может, как раз в силу этих своих способностей, заявивших о себе слишком рано, — чтобы считать их, по сравнению с творениями чистого воображения, чем-то вроде не требующего особых усилий фиглярства.

Злосчастные карточные долги привели к временному разрыву с приемным отцом, и Эдгар — факт весьма курьезный и указывающий, кто бы что ни говорил, на изрядную толику рыцарства в его впечатлительном мозгу — задумывает принять участие в Войне за независимость Гре-

ции и отправиться бить турок.

Что с ним стало на Востоке? Чем он там занимался? Может, изучал ставшие классикой берега Средиземного моря?

Почему мы обнаруживаем его в Санкт-Петербурге, без паспорта, опороченного, впутавшегося в какие-то сомнительные дела и в силу этого вынужденного апеллировать к американскому послу Генри Миддлтону, чтобы избежать наказания со стороны русского правосудия и вернуться домой? Этого не знает никто; здесь налицо пробел, заполнить который мог бы только он сам. Американские газеты в течение долгого времени обещали рассказать о жизни Эдгара По, о его юности, о похождениях в России, сулили опубликовать его переписку, но так ничего и не напечатали.

Вернувшись в 1829 году в Америку, он изъявил желание поступить в военную школу Вест-Пойнт. Его туда и в самом деле приняли, и там молодой человек, как и раньше, проявил признаки крайне одаренного, но при этом недисциплинированного ума, и через несколько месяцев был исключен. Одновременно с этим в его приемной семье произошло событие, которому суждено было повлечь за собой самые серьезные послед-

ствия и оказать влияние на всю его жизнь. Г-жа Аллан, к которой он, по всей видимости, питал неподдельную сыновнюю любовь, умерла, и г-н Аллан женился на совсем молодой женщине. При этом вспыхнул семейный скандал — странная и туманная история, которую я не могу здесь привести в силу того, что в ней толком не разобрался ни один биограф. Поэтому неудивительно, что Эдгар окончательно рассорился с г-ном Алланом и что тот, имея детей от второго брака, полностью лишил его наследства.

Некоторое время спустя после отъезда из Ричмонда По опубликовал небольшой поэтический сборник; это на самом деле была восходящая звезда. Для того, кто способен чувствовать английскую поэзию, в ней изначально заложен какой-то внеземной оттенок, меланхоличное спокойствие и слишком рано приобретенный опыт — кажется, я собирался сказать опыт сокровенный, — словом, все то, что характеризует великих поэтов.

Нужда на какое-то время заставила его сделаться солдатом, и По, по всей видимости, пользовался суровыми часами гарнизонного досуга для подготовки материалов своих будущих произведений — произведений причудливых, словно создан-

ных для того, чтобы показать, что странность представляет собой неотъемлемую часть Красоты. Войдя в литературную жизнь, единственную стихию, где могли дышать отдельные маргиналы, По прозябал в крайней нищете, но тут ему представился счастливый случай. Владелец одного журнала учредил две премии — одну за лучший рассказ, вторую за лучшую поэму. Чей-то необычайно красивый почерк привлек внимание г-на Кеннеди, председателя жюри, и он решил самолично просмотреть рукописи. Получилось так, что лауреатом обеих премий стал По, хотя дали ему только одну. Председателю комиссии из любопытства захотелось встретиться с незнакомцем, и редактор журнала привел к нему молодого, поразительно красивого, скверно одетого молодого человека, застегнутого на все пуговицы, вплоть до подбородка, и имевшего вид насколько горделивый, настолько и голодный. Кеннеди повел себя благородно и познакомил По с неким Томасом Уайтом, учредившим в Ричмонде «Саузен Литерари Мессенджер». Г-н Уайт был человеком смелым, но начисто лишенным литературных дарований и поэтому нуждавшимся в помощи. Так, совсем еще в юном возрасте — когда ему было двадцать два года — По стал директором

журнала, судьба которого теперь всецело зависела от него. И добился процветания — «Саузен Литерари Мессенджер» впоследствии признавал, что своими читателями и прибыльной славой был обязан этому нечестивому сумасброду и неисправимому пьянице. Именно в этом журнале было впервые опубликовано «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля», равно как и многие другие рассказы, действие которых будет разворачиваться на глазах наших читателей. В течение почти что двух лет Эдгар По, проявляя поистине фантастическое рвение, удивлял публику вереницей произведений совершенно нового жанра и критическими статьями, ясность, живость и обоснованная суровость которых неизменно приковывали к себе внимание. Эти статьи относились к самым разным произведениям, и полученное молодым человеком прекрасное образование немало тому поспособствовало. Здесь следует заметить, что за столь огромную работу ему платили пятьсот долларов, то есть две тысячи семьсот франков, в год. Он тут же, сказал Грисуолд, что в его устах означало: «Этот идиот считал себя достаточно богатым», женился на молоденькой девушке, очаровательной, прекрасной, обладающей приветливым и смелым

характером, но при этом не имеющей за душой ни гроша, с ноткой презрения добавил тот же Грисуолд. Это была его кузина, девица Вирджиния Клемм. Не прошло и двух лет, как г-н Уайт рассорился с По, несмотря на все услуги, которые тот оказал его газете. Вполне очевидно, что причина их разрыва кроется в приступах ипохондрии и запоях поэта — типичных для него явлениях, затмевавших его духовный небосвод словно свинцовые облака, неожиданно придающие даже самому романтичному пейзажу унылый и безнадежно загубленный вид. С тех пор несчастный, словно степной кочевник, будет переносить свой шатер с места на место, налегке обустраивая жилище в главных городах Юниона. И повсюду он будет либо стоять во главе журналов, либо сотрудничать с ними, неизменно обращая на себя внимание и становясь предметом повышенного интереса. Он с головокружительной скоростью будет публиковать критические и философские статьи, а также пропитанные магией рассказы, которые выйдут в свет под общим названием «Гротески и арабески» — названием замечательным и выбранным преднамеренно с учетом того, что гротескные орнаменты и арабески отталкивают человека, и вскорости станет ясно, что

литература По во многих отношениях является над– или сверхчеловеческой. Из оскорбительных и скандальных заметок в газетах мы узнаем, что г-н По и его жена серьезно больны и прозябают в полной нищете в Фордхеме. Некоторое время спустя после смерти мадам По поэт подвергается первым приступам белой горячки. Неожиданно в одной из газет появляется новая заметка, более чем жестокая; в ней, основываясь не столько на действиях и поступках, сколько на намерениях, Эдгару По инкриминируют презрение и отвращение к миру, выдвигая подлинное обвинение со стороны общественного мнения — из числа тех, с которыми ему постоянно приходилось бороться, ведя одно из самых бесплодных и изматывающих известных мне сражений.

Конечно же он зарабатывал, и литературные труды практически обеспечивали его жизненные потребности. Но у меня есть доказательства того, что ему постоянно приходилось преодолевать трудности, не вызывающие ничего, кроме отвращения. Подобно многим другим писателям, он мечтал о собственном журнале и хотел быть у себя дома; истина заключается в том, что он страдал достаточно для того, чтобы желать для своей мысли подобного незыблемого убежища.

Чтобы добиться этого результата и раздобыть достаточную сумму денег, он прибегал к публичным чтениям. Что представляют собой подобные лекции, знают все, — что-то вроде размышлений вслух; благодаря Коллеж де Франс они стали доступны всем литераторам, и их материалы авторы публикуют лишь после того, как извлекут из них все мыслимые и немыслимые доходы. По уже когда-то устраивал в Нью-Йорке публичное прочтение своей космогонической поэмы «Эврика», которое даже стало предметом ожесточенных споров. На этот раз он задумал появиться перед публикой в своем родном штате Вирджиния. В письме Уиллису он писал, что собирается объехать с лекциями запад и юг, надеясь на помощь со стороны друзей из литературной среды и старых знакомых по военной школе Вэст-Пойнт. Таким образом, он посетил главные города Вирджинии, и Ричмонд вновь увидел того, кого когда-то знал таким юным, таким бедным и таким жалким. Все, кто не видел По с тех пор, когда он был никому не известен, толпой бросились, чтобы лицезреть своего прославленного соотечественника. И он предстал пред ними красивый, элегантный и благообразный, как гений. Я даже полагаю, что в своей снисходительности он дошел до того, что

незадолго до этого вступил в общество трезвости. Тему он выбрал сколь пространную, столь и возвышенную: *Принцип поэзии* — и развивал ее, проявляя ясность суждений, входившую в число его достоинств. Будучи истинным поэтом, он верил, что истинная цель поэзии должна носить тот же характер, что и ее принцип, и что иметь в виду она должна исключительно себя саму.

Оказанный Эдгару По радушный прием наполнил его душу радостью и гордостью; он выглядел столь очарованным, что даже поговаривал о том, чтобы навсегда поселиться в Вирджинии и провести остаток дней в краях, с детства дорогих его сердцу. Однако в Нью-Йорке его ждали дела, и 4 октября, жалуясь на слабость и озноб, он уехал. По прибытии в Балтимор он, по-прежнему чувствуя себя плохо, велел отнести багаж на платформу, с которой ему предстояло отправляться в Филадельфию, а сам пошел в харчевню, чтобы выпить чего-нибудь для укрепления духа. На свою беду, там он повстречался со старыми знакомцами и засиделся с ними. Утром следующего дня в бледных рассветных сумерках на дороге был найден труп, — да что я такое говорю? — нет, не труп, тело человека еще живого, но уже помеченного величественной печатью Смерти. Кто он, никто

не знал, при нем не нашли ни документов, ни денег и доставили в больницу. Именно там, в то же воскресенье, вечером у октября 1849 года, По умер в возрасте тридцати семи лет, побежденный белой горячкой — этим страшным визитером, пару раз уже переступавшим порог его мозга. Так ушел из этой жизни один из величайших литературных героев, человек, написавший в «Черном коте» такие пророческие слова: «Какая болезнь сравнится с алкоголем!»

Эта смерть — почти что самоубийство, причем самоубийство, подготовленное заранее. Как бы там ни было, оно вызвало скандал. Шуму было много, и добродетель, сладострастно и не стесняясь, стала вовсю заливаться своими напыщенными трелями. Даже самые терпимые надгробные речи не обходились без неизбежной обывательской морали, которая была не в состоянии упустить такой изумительный случай. Г-н Грисуолд клеймил покойного позором; г-н Уиллис вел себя более чем прилично. Увы, тот, кто преодолел самые крутые вершины эстетики и погрузился в самые неизведанные глубины человеческого разума, кто всю свою жизнь находил новые средства выражения и неведомые доселе приемы, чтобы поражать воображение

и прельщать изголодавшиеся по Красоте умы, угас за несколько часов на больничной койке, — какая судьба! Какое величие и какое несчастье — поднять вихрь обывательского пустословия, стать хлебом насущным и темой обсуждения для добродетельных журналистов!

Ut declamatio f ais!

Зрелище не ново; редко бывает, чтобы свежий гроб прославленного человека не стал средоточием скандалов. К тому же общество не любит таких экзальтированных неудачников, и независимо от того, портят ли они ему праздники или же наивно воспринимаются чем-то вроде угрызений совести, правота его не вызывает ни малейших сомнений. Кто не помнит напыщенных парижских речей после смерти Бальзака, который, как бы там ни было, умер вполне прилично? То же самое и в более поздние времена; сегодня, 26 января, исполняется ровно год с того дня, когда писатель[41] восхитительной честности и высокого ума, неизменно проявлявший ясность суждений, скромно и не доставляя никому никакого беспо-

[41] Примечания: 41

По-видимому, здесь автор имеет в виду французского писателя и поэта Жерара де Нерваля (1808–1855). 26 января 1855 года его нашли повешенным на решетке на улице Вьей-Лантерн. — *Прим. пер.*

койства — настолько скромно, что скромность его больше напоминала собой презрение — испустил последний вздох на самой темной улице, которую только смог найти, — какая отвратительная и нудная мораль! Какое утонченное убийство! Один известный журналист, которому Иисус так и не смог привить благородных манер, посчитал это происшествие достаточно забавным для того, чтобы посвятить ему грубый каламбур. В обширном перечне человеческих прав, который так часто и с такой готовностью переписывает мудрость XIX века, не хватает двух очень важных — права человека противоречить себе и права уйти. Но тех, кто уходит, общество считает наглецами; оно с удовольствием набросилось бы на бренные останки отдельных людей, как тот несчастный, пораженный вампиризмом солдат, которого вид трупа привел в отчаяние, граничащее с яростью. Но как бы там ни было, можно сказать, что под давлением определенных обстоятельств, после серьезного рассмотрения установленных несоответствий, при наличии твердой веры в те или иные догмы и переселение душ, — можно сказать, избегая пафоса и игры слов, что самоубийство порой является самым разумным в жизни поступком. Вот так и образуется

уже довольно многочисленная компания призраков, забегающих по старой дружбе к нам на огонек, каждый член которой хвастается своим нынешним состоянием отдохновения и изливает на нас свои убеждения.

В то же время признаем сразу, что скорбный конец автора «Эврики» не обошелся и без ряда утешительных исключений, без которых нужно было бы впасть в полнейшее отчаяние и считать положение дел совершенно безнадежным. Г-н Уиллис, как я уже говорил, честно и даже взволнованно рассказал о хороших отношениях, которые он всегда поддерживал с По; г-да Джон Нил и Джордж Грехем призвали г-на Грисуолда проявлять деликатность; г-н Лонгфеллоу, еще больше заслуживающий всяческих похвал от того, что По когда-то обошелся с ним очень нехорошо, смог в достойной поэта манере отметить его высокое дарование стихотворца и прозаика. А какой-то незнакомец написал, что литературная Америка потеряла своего первейшего бунтаря.

Но сердце разбитое, сердце истерзанное, сердце, пронзенное семью мечами, было у мадам Марии Клемм[42]. Эдгар для нее был одновременно и сы-

[42] Примечания: 42
Мария Клемм — мать жены писателя Вирджинии Клемм.

ном, и дочерью. Жестокая судьба, сказал Уиллис, у которого я практически слово в слово заимствую все эти детали, — жестокая судьба, как и у того, кого она оберегала и окружила своей заботой. Ведь Эдгар По был человек тяжелый и обременительный; помимо того, что он писал тяжеловесно и утомительно, да еще в стиле, слишком выходящем за рамки среднего интеллекта для того, чтобы ему хорошо платили, он еще постоянно испытывал финансовые затруднения и им с больной женой часто не хватало даже самого необходимого. Как-то раз г-н Уиллис увидел, как к нему в контору вошла миловидная, пожилая, серьезная женщина. Это была мадам Клемм. Она искала работу для своего дорогого Эдгара. Биограф говорит, что он был буквально потрясен, причем не только высшим восхвалением и точной оценкой талантов и способностей сына, но также ее внешностью — тихим, грустным голосом и манерами несколько старомодными, но при этом величественными и прекрасными. И в течение многих лет, добавляет он, мы видели, как эта неутомимая служанка гения, одетая бедно и скромно, обивала пороги газет, чтобы продать то поэму, то статью, порой говоря, что он болеет — единственное объяснение,

единственная причина, неизменное оправдание, которое она приводила, когда сын переживал один из кризисов творческого бесплодия, столь хорошо знакомых писателям впечатлительным и нервным, — и никогда не позволяя слететь с уст ни единому звуку, который можно было бы истолковать как сомнение, как неверие в гений и волю своего любимца. После смерти дочери она привязалась к нему с обострившейся материнской страстью, стала жить с ним, заботиться о нем, окружила вниманием и стала оберегать от жизни и от него самого. Разумеется, возвышенно, мудро и беспристрастно заключает Уиллис, если преданность женщины, родившаяся с первой любовью и поддерживаемая человеческим исступлением, прославляет предмет своего обожания и возводит его в ранг святости, то разве может что-нибудь свидетельствовать против того, кто эту преданность внушает? Хулителям По следовало бы обратить внимание на то, что он обладал столь мощными притягательностью и шармом, что они просто не могли не быть добродетелями.

Нетрудно догадаться, насколько страшной была эта новость для несчастной женщины. Она написала Уиллису письмо, из которого мы при-

водим здесь несколько строк:

«Нынешним утром я узнала о смерти моего горячо любимого Эдди… Не могли бы вы сообщить мне какие-то детали, обстоятельства?.. Ох, не бросайте свою бедную подругу одну в этой скорбной беде… Скажите М., чтобы он зашел ко мне: я должна выполнить одно связанное с ним поручение, которое дал мне мой несчастный Эдди… Для меня нет нужды просить вас сообщить о его смерти и отзываться о нем хорошо. Я знаю, что вы это сделаете и так. Но обязательно скажите, каким любящим сыном он был для меня, его безутешно скорбящей матери…» Эта женщина представляется мне великой и более чем образцовой. Сраженная непоправимой бедой, она думает лишь о репутации того, который был для нее всем, и, чтобы исполнить ее пожелания, недостаточно говорить, что он был гением, нужно еще, чтобы все знали, что он был человеком любящим и нежным, человеком долга. Вполне очевидно, что эта женщина — факел и домашний очаг, зажженные лучом, сошедшим с самых высоких небес, — стала примером для нашего поколения, слишком мало заботящегося о преданности, героизме и обо всем том, что выше долга. Разве несправедливо написать на титульном листе

произведений поэта имя той, которая стала духовным солнцем его жизни? Он забальзамирует в славе имя женщины, чья нежность могла залечивать раны и образ которой будет неустанно парить над мартирологом литературы.

III

Жизнь По, его привычки и нравы, его манеры, его физическое естество — словом, все то, что в своей совокупности составляет индивидуальность человека, представляется нам чем-то одновременно мрачным и блестящим. Он был личностью необычной, привлекательной и, подобно его произведениям, помеченной непостижимой печатью меланхолии. Что до остального, он был великолепно одаренным во всех отношениях. В юности поэт обнаруживал редкие способности к всевозможным физическим упражнениям и, несмотря на небольшой рост, на женские руки и ступни, на то, что весь его облик носил черты женственной утонченности, был более чем жилистым и способным демонстрировать чудеса силы. В молодости он на спор проявил себя отменным пловцом, совершив то, что выходило за общепринятые рамки возможного. Создается такое впечатление, что Природа

одаривает тех, кому суждено вершить великие дела, энергичным темпераментом, точно так же как наделяет могучим жизненным потенциалом деревья, символизирующие траур и боль. Эти люди, обладающие несколько тщедушной внешностью, сложены атлетически, хороши как в кутежах, так и в работе, склонны к излишествам, но при этом способны на удивительную трезвость.

Касательно Эдгара По есть несколько моментов, по которым наблюдается единодушное согласие, например его природная изысканность, красноречие и красота, которая, как поговаривают, в известной степени была предметом его тщеславия. Его манеры, причудливая смесь достоинства и грациозной деликатности, были пропитаны уверенностью. Выражение лица, походка, жесты, посадка головы — все это, особенно в его лучшие дни, указывало на избранника судьбы. Все его естество дышало какой-то проникновенной торжественностью. Он и в самом деле был отмечен природой, как фигуры тех прохожих, которые приковывают к себе взор стороннего наблюдателя и занимают его ум. Даже едкий педант Грисуолд, и тот признал, что, придя к По и увидев его бледным, больным, еще не оправившимся

после болезни и смерти жены, он был крайне поражен не только совершенством его манер, но также аристократическим обликом и благоухающей атмосферой квартиры, обставленной, впрочем, весьма скромно. Грисуолду неведомо, что поэту больше, чем любому другому мужчине, была присуща волшебная, свойственная испанкам и парижанкам способность сотворить наряд из ничего, и что По изобрел искусство преобразовывать хижину во дворец совершенно нового типа. Разве он, проявляя неслыханную любознательность и оригинальность мышления, не разрабатывал проекты меблировки? Разве не вынашивал планы строительства деревенских домов, разбивки садов и переделки ландшафта?

Существует очаровательное письмо мадам Фрэнсис Осгуд, которая, будучи одной из подруг По, сообщает нам самые любопытные подробности о нем как личности, о его привычках и о том, какие порядки были заведены у него дома. Эта женщина, которая сама была незаурядным литератором, смело опровергает порочность и все лживые упреки в адрес поэта.

«С мужчинами, — говорит она Грисуолду, — он, по всей видимости, был таким, каким описываете его вы, и, как мужчина, вы, возможно,

правы. Однако я утверждаю, что с женщинами он был совершенно другим и никогда женщина не могла узнать г-на По, не проявив к нему глубочайшего интереса. Я неизменно воспринимала его образцом элегантности, изысканности и благородства…

Впервые мы увиделись в Эстор Хаус. Уиллис передал мне за столом «Ворона», по поводу которого автор, как мне сказали, желал знать мое мнение. Таинственная, сверхъестественная музыка этой причудливой поэмы проникла в такие сокровенные уголки моей души, что, когда я узнала о желании По быть мне представленным, меня охватило странное чувство, больше напоминавшее собой трепет. Он предстал предо мной — с красивой, горделивой головой, с темными глазами, излучавшими какой-то особенный свет, свет чувства и мысли, со своими манерами, представлявшими собой необычную смесь непередаваемого достоинства и утонченности. Он поклонился мне — степенно, спокойно и почти даже холодно — но за этой холодностью вибрировала столь ярко выраженная симпатия, что я не могла удержаться и поддалась тому глубокому впечатлению, которое он на меня произвел. С этого момента и до самой его смерти мы были

друзьями… и я знаю, что в его последних словах была часть воспоминаний обо мне и что перед тем, как дух его был сброшен с царственного трона, он предоставил мне высшее доказательство своей верности в дружбе.

Характер Эдгара По представал предо мной в лучшем свете в первую очередь в его интерьере, одновременно простом и поэтичном. Веселый, живой, одухотворенный, то добрый, то злой, как избалованное дитя, он, даже с головой погружаясь в утомительные литературные труды, всегда находил для своей юной, нежной, обожаемой жены, а также для тех, кто к нему приходил, доброе слово, благожелательную улыбку, элегантный и вежливый знак внимания. За своим столом, под портретом любимой, ушедшей из жизни Ленор[43], он проводил нескончаемые часы — неизменно прилежный, неизменно безропотный и запечатлевающий на бумаге своим восхитительным почерком блестящие фантазии, возникавшие в его удивительном мозгу, всегда пребывавшем в состоянии бодрствования. Помню, как однажды утром я увидела его более

[43] Примечания: 43

Ленор — имя девушки, являющейся в мечтаниях лирическому герою стихотворения Эдгара По «Ворон». Так же зовут героиню и другого его стихотворения — «Ленор».

бодрым и радостным, чем обычно. Вирджиния, его кроткая жена, попросила меня зайти к нему, и я не могла не выполнить ее просьбу… Я увидела, что он работает над циклом статей, впоследствии опубликованных под общим названием «Literati of New York»[44]. «Взгляните, — с триумфальной улыбкой сказал он, разворачивая передо мной несколько небольших рулончиков бумаги (он писал на узких полосках, по-видимому, чтобы рукопись соответствовала ширине колонки в газете), — посредством разницы в их длине, я хочу продемонстрировать вам различную степень уважения, питаемого мной к каждому члену вашей литературной братии. Каждый из этих рулончиков надлежащим образом обсуждает и треплет по головке одного из вас. Подойдите сюда, Вирджиния, и помогите мне!» И они по очереди развернули их все. Последним был рулончик, казавшийся поистине нескончаемым. Вирджиния, чтобы его развернуть, отошла в один конец комнаты, ее супруг — в другой. «Кто же он, — спросила я, — этот счастливчик, которого вы посчитали достойным столь безбрежной радости и удовольствия?» — «Поглядите на

[44] Примечания: 44

Literati of New York (*англ.*) — можно перевести как «Нью-Йоркские литераторы».

нее, — воскликнул он, — можно подумать, что ее тщеславное сердечко не сказало ей, что это она сама!»

Когда мне пришлось уехать, чтобы поправить здоровье, я регулярно переписывалась с По, уступив настоятельным просьбам его жены, полагавшей, что я могу оказать на него благотворное влияние. Что же касается любви и доверия между ними, которые для меня были зрелищем восхитительным, то с какой теплотой, с какой убежденностью я о них ни говорила бы — этого было бы мало. Я опущу несколько поэтических эпизодов, связанных с его романтическим характером. На мой взгляд, она была единственной женщиной, которую он когда-либо по-настоящему любил…»

В рассказах По никогда не было любви. По крайней мере ни «Лигейя», ни «Элеонора» по сути своей не являются историями любви. Любовь в них является лишь фундаментом, на котором возводится совершенно иная надстройка. Возможно, он считал, что язык прозы совершенно не подходит для этого странного и почти непередаваемого чувства, ведь поэзия его, напротив, пропитана им буквально насквозь. Эта божественная страсть проявляется в ней дивной, небесной и неизменно

подернутой дымкой неизлечимой меланхолии. В своих статьях он иногда говорит о любви, порой даже как о чем-то таком, что повергает перо в трепет. В «Поместье Арнгейм» он будет утверждать, что четырьмя ключевыми условиями счастья являются: жизнь на природе, любовь женщины, отказ от любых амбиций и сотворение новой Красоты. Что свидетельствует в пользу слов м-м Фрэнсис Осгуд о рыцарском уважении По к женщинам, ведь, несмотря на его изумительный талант к литературе гротеска и ужаса, во всем его творческом наследии нет ни одного отрывка, который носил бы оттенок похотливости или даже чувственных наслаждений. Созданные им женские портреты словно окружены нимбом, они сияют в ореоле сверхъестественного тумана и выписаны в патетической манере обожателя. Что же касается романтических эпизодов, то стоит ли удивляться, что порой столь впечатлительная натура, главной чертой которой, пожалуй, была жажда Красоты, со страстью и пылом проповедовала галантность, этот вулканический, надушенный мускусом цветок, для которого кипучий разум поэта является предпочтительной сферой обитания?

Общие представления о внешней красоте Эдга-

ра По разум может составить, призвав на помощь все туманные, но вместе с тем характерные понятия, содержащиеся в слове «романтизм» — слове, которое обычно используется для передачи жанров красоты, сводящихся главным образом к выразительности. У По был широкий, властный лоб с характерными выпуклостями, выдававшими его исключительные способности, которые они призваны представлять, — созидание, сравнение, сопоставление причины и следствия; чело, на котором в горделивом спокойствии властвовало ощущение идеальности — ощущение главным образом эстетическое. Тем не менее, несмотря на все эти привлекательные стороны, а может быть, даже в силу его выдающихся талантов, профиль его вряд ли можно было назвать симпатичным. Как и везде, где наблюдается избыток чего-то одного, дефицит чего-то другого может являться результатом изобилия, а бедность — следствием узурпации. У него был мрачный, но в то же время наполненный светом взор, темные, неопределенного цвета глаза с фиолетовым оттенком, благородный, основательный нос, тонкие, грустные, но в то же время неуловимо улыбчивые губы, смугловатый цвет кожи и, по обыкновению, бледное лицо,

выражение которого было рассеянным и слегка подретушированным привычной меланхолией.

Речь его была более чем отличительной и в высшей степени богатой. Он не относился к числу тех, кого принято называть краснобаями и кто представляет собой явление поистине ужасное. К тому же слово его, как и перо, испытывало страх перед банальностями и условностями. Но обширные знания, огромный словарный запас, упорная учеба и впечатления, собранные им в самых разных краях, превращали это слово в лекцию или урок. Его красноречие, по сути своей поэтическое и размеренное, но вместе с тем выходящее за рамки любой известной размеренности, арсенал образов, извлекаемых из мира, порой посещаемого толпой призраков и духов, удивительное умение извлекать из очевидных и вполне допустимых предпосылок новые, подспудные мнения и суждения, открывая удивительные перспективы, — одним словом, искусство увлекать, заставлять мечтать и задумываться, вырывать души из тисков рутины — вот в чем заключались блестящие способности, воспоминания о которых сохранили очень многие. Но порой случалось — так, по крайней мере, говорят, — что поэт, поддавшись какому-то пагубному капризу, своим

удручающим цинизмом, убивающим на корню всю его духовность, внезапно заставлял друзей спуститься с небес на землю. К тому же следует заметить, что он не особо утруждал себя выбором слушателей, и, на мой взгляд, читатель без труда отыщет в истории немало других великих гениев и оригиналов, для которых была хороша любая компания. Некоторые умы, одинокие в толпе и кормящиеся монологами, отнюдь не нуждаются в деликатности на публике. В целом это что-то вроде братства, основанного на презрении.

Как бы там ни было, о его пристрастии к алкоголю, которое возносят на щит и ставят в упрек с настойчивостью, наводящей на мысль о том, что, за исключением По, все американские писатели являются просто ангелами трезвости, мы должны поговорить. На этот счет существует множество версий, и ни одна из них не исключает другую. Прежде всего, я должен заметить, что, по утверждениям как Уиллиса, так и мадам Осгуд, даже минимального количества ликера или вина было вполне достаточно для того, чтобы полностью выбить его из колеи. К тому же нетрудно предположить, что человек столь одинокий и глубоко несчастный, нередко считающий все общественное устройство парадоксом и ложью, человек,

безжалостно преследуемый судьбой и постоянно повторявший, что общество представляет собой не что иное, как толпу негодяев (об этом говорит Грисуолд, возмущаясь с видом человека, который думает точно так же, но никогда не осмелится этого высказать), — вполне естественно, говорю я, предположить, что сей поэт, с измученным тяжким, упорным трудом мозгом, совсем ребенком брошенный в пучину превратностей вольной жизни, порой стремился к неге забвения в вине. Злоба литераторов, головокружение на краю бесконечности, семейные горести, оскорбление нищетой — все это По топил в черных глубинах опьянения, словно в преддверии могилы. Но каким бы хорошим ни выглядело это объяснение, мне оно не кажется достаточно исчерпывающим и не вызывает доверия по причине своей простоты, достойной лишь сожаления.

Я знаю, что он пил не как гурман, а как варвар, по-американски энергично и экономя время, как будто совершая смертоубийство, словно в нем было что-то, подлежащее уничтожению, a worm that would not die[45]. К тому же рассказывают, что в день, когда По сочетался вторым браком (о

[45] Примечания: 45
A worm that would not die (*англ.*) — неумирающий червь.

свадебной церемонии было объявлено заранее, и, когда его стали поздравлять с супружеством, предоставлявшим высочайшие возможности для счастья и благополучия, он сказал: «Объявления о бракосочетании вы, может, и читали, но зарубите себе на носу: я не женюсь!»), напившись в стельку, он привел в возмущение близких той, которая собиралась стать его женой, прибегнув таким образом к своему пороку, чтобы не совершить клятвопреступления по отношению к несчастной покойной, так восхитительно воспетой им в «Аннабель Ли». Поэтому в очень многих случаях я считаю удостоверенным и доказанным поистине бесценный факт предумышленности подобных действий.

С другой стороны, в «Саузен Литерари Мессенджер» — той самой газете, с которой начиналась его судьба, — я читал, что от этой его пагубной привычки никогда не страдали ни ясность и совершенство стиля, ни чистота мысли, ни рвение в работе; что написание большинства его изумительных фрагментов либо предшествовало очередному подобному кризису, либо следовало за ним; что после публикации «Эврики» он самым плачевным образом принес жертву своей пагубной страсти и что в Нью-Йорке в то самое

утро, когда вышел в свет «Ворон» и когда имя поэта было у всех на устах, он пересекал Бродвей, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону. Заметьте, что выражения «предшествовать» и «следовать за» подразумевают, что хмель мог в равной степени служить средством как успокаивающим, так и возбуждающим. Но ведь нет никаких сомнений в том, что в хмельном упоении есть не только вереница грез, но и цепочка умозаключений, для воспроизведения которых требуется породившая их среда — в этом оно напоминает собой те мимолетные, поразительные впечатления — наиболее поразительные в своем повторении, когда они становятся самыми мимолетными, — которые порой являются реакцией на некий внешний фактор, например на колокольный звон, музыкальную ноту или забытый аромат, за которыми следует событие, подобное уже известному, которые занимают то же самое место в уже установленной последовательности, наподобие периодически повторяющихся видений, посещающих нас во сне. Если читатель следил за моей мыслью, не питая к ней отвращения, он уже догадался о сделанном мною выводе: я полагаю, что во многих случаях, хотя конечно же не во всех, пристрастие По к алкоголю вы-

ступало в качестве мнемонического средства и метода работы — метода действенного и пагубного, но вполне соответствующего его страстной натуре. Поэт научился пить точно так же, как скрупулезный литератор — заполнять заметками свои блокноты. Он не мог противиться желанию вновь встретиться с дивными или пугающими видениями и заново обрести тончайшее восприятие, посетившее его во время предыдущего шторма; для него это были старые знакомые, к которым его неодолимо влекло, и, чтобы вновь войти с ними в контакт, он становился на самый опасный, но вместе с тем и на самый прямой путь. То, что в его произведениях сегодня доставляет нам столько наслаждения и удовольствия, одновременно является тем, что его убило.

IV

О произведениях этого необычного гения я могу сказать очень немногое; читающая публика вскоре увидит, что я о них думаю. Пролить свет на его приемы, объяснить его подход, особенно в тех произведениях, ключевой эффект которых зиждется на скрупулезном анализе, мне, по-видимому, было бы трудно, хотя ничего невозможного в этом нет. Я мог бы посвятить читателя в тайны

творчества поэта, долго распространяться о той ипостаси американского духа, которая позволяла ему испытывать радость и наслаждение от преодоления трудностей, от объяснения загадок и тайн, от героических усилий, оборачивающихся успехом, которая побуждала его с каким-то инфантильным, почти что порочным сладострастием забавляться с миром вероятностей, догадок и предположений, и создавать сенсации, в которые его тонкое искусство вдыхало настоящую жизнь. Никто не будет отрицать тот факт, что По был поистине изумительным стихотворцем, хотя сам он больше ценил другую часть своих произведений. Мне остается лишь сделать еще несколько важных замечаний, впрочем весьма лаконичных и сжатых.

Добиться восхищения в глазах людей думающих он смог не по причине своих диковинных сюжетов, хотя те и легли в основу его славы и признания, но благодаря любви к Прекрасному и знанию гармоничных критериев Красоты; своей поэзии, глубокой, печальной, но в то же время отточенной, правильной и прозрачной, словно драгоценный хрусталь; благодаря восхитительному, чистому, необычному, выверенному, благожелательному и лаконичному, словно тес-

но подогнанные металлические кольца доспехов, стилю, малейшие повороты которого подталкивали читателя к желанной цели; но в первую очередь благодаря своему неповторимому гению и уникальной натуре, которые позволяли ему в безупречной, захватывающей и грозной манере описывать и объяснять отклонения от норм морали. Дидро, если взять один пример из ста, был автором кровавым; что же касается По, то его можно назвать писателем оголенного нерва, а может, даже чего-то большего, причем лучшим из всех, кого я знаю.

Каждое погружение в сюжет у него становится захватывающим, как вихрь, но лишенным всякой агрессии. Присущая ему торжественность поражает и держит ум в постоянном напряжении. И медленно, шаг за шагом, разворачивается история, вся занимательность которой зиждется на неуловимой девиации интеллекта, на дерзком предположении, на смелом вкладе Природы в амальгаму возможностей. Читатель, словно не в силах сопротивляться головокружительному урагану, вынужден следовать за сложными и замысловатыми выводами автора.

Я повторяю, что ни один человек не прибегал к таким фантасмагориям при описании исклю-

чительности Природы и человеческой жизни, свойственных выздоровлению приступов любознательности; наполненной лихорадочным великолепием смены времен года; влажной, мглистой жары, когда южный ветер успокаивает нервы, словно струны какого-то инструмента, а глаза наполняются слезами, идущими отнюдь не из души; галлюцинаций, сначала порождающих сомнения, но затем убедительных и разумных, как книга; абсурдности, поселяющейся в мозгу и управляющей им со всесокрушающей логикой; истерии, узурпирующей место воли; разногласий между эмоциями и разумом; и человека, который в своей противоречивости дошел до того, что стал выражать боль смехом. Он анализирует мимолетное, взвешивает невесомое и описывает, в своей дотошной научной манере, обеспечивающей роковой результат, тот воображаемый мир, который парит вокруг впечатлительного человека и ведет его к злу.

То рвение, с которым он погружается в гротеск ради любви к гротеску и в мистический трепет ради любви к мистическому трепету, позволяет мне удостоверить искренность его творений и то, насколько в нем уживались человек и поэт. Я уже говорил о том, что в случае с очень

многими людьми подобный пыл является результатом огромного количества незадействованной жизненной энергии, в ряде случаев упрямого целомудрия, а также глубоко подавляемой внутри чувственности. Сверхъестественное сладострастие, охватывающее человека при виде ручья собственной крови; резкие, агрессивные, бесполезные порывы; громкие крики, которые его горло издает подсознательно, без всякого участия разума, — все это явления того же порядка.

Воздух в недрах этой литературы разрежен, и дух там может испытывать смутную тревогу, страх, готовый вот-вот обернуться слезами, и дурноту, обитающую на пространствах обширных и странных. Но восхищение все же сильнее, да и потом, как же величественно это искусство! И главное, и второстепенные детали здесь полностью соответствуют чувствам персонажей. Одиночество Природы или городская суета — все описывается лихорадочно, возбужденно и фантастично. Подобно нашему Эжену Делакруа, возвысившему свое искусство до вершин величественной поэзии, Эдгар По любит перемещать своих персонажей на фиолетовом или зеленоватом фоне, обнаруживающем фосфоресцирующие признаки гниения и флюиды бури. Природа,

которую принято называть неодушевленной, принимает участие в жизни живых существ и, подобно им, дрожит сверхъестественной мелкой дрожью. Пространство от опиума становится глубже, оттенки приобретают магический смысл, а вибрация звуков становится более звонкой и величественной. Неожиданно посреди этого пейзажа возникают изумительные поляны, насыщенные цветом и светом, и на горизонте взору предстают затянутые дымкой восточные города и величественные храмы, на которые солнце изливает потоки золотого дождя.

Персонажи По, точнее, один его обобщенный персонаж: человек с обостренными способностями и измочаленными нервами, чья пылкая, непреклонная воля бросает вызов трудностям, а упорный взгляд, с несгибаемостью меча устремленный на предмет, заставляет этот предмет увеличиваться в размерах — не кто иной, как сам По. И его женщины, все как одна ослепительные и больные, умирающие от неведомых недугов и говорящие голосами, напоминающими музыку, — это тоже он; по меньшей мере, они, своими странными устремлениями и знаниями, равно как и неизлечимой меланхолией, принимают деятельное участие в характере своего творца. Что

же до его идеальной женщины, его Титаниды, мы обнаруживаем ее под личиной различных портретов, разбросанных по очень немногочисленным отрывкам поэтических произведений, и даже не портретов, а скорее моделей восприятия Красоты, объединенных воедино темпераментом автора и составляющих неделимое единство — туманное, но осязаемое, — в котором, может быть, более тонко, чем где бы то ни было, ощущается неутолимое стремление к Красоте, являющееся титульным листом всех его произведений, заглавием, обобщающим любовь и уважение.

Под названием «Страшные рассказы» мы собрали избранные рассказы Эдгара По. Его собрание сочинений состоит из значительного числа новелл, столь же внушительного количества критических и иных статей, философской поэмы («Эврика»), стихотворений и чисто филантропического романа («Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»). Если у меня будет еще одна возможность поговорить об этом поэте, на что я очень надеюсь, то я проведу анализ его философских и литературных воззрений, а также его творческого наследия в целом, полный перевод которого практически не имеет шансов на успех у публики, предпочитающей значимым фило-

софским истинам увеселения, чувства и эмоции.

Шарль Бодлер

Биография и библиография

ЭДГАР АЛЛАН ПО родился 19 января 1809 года в Бостоне в семье бродячих артистов. В возрасте двух лет потерял родителей и был усыновлен богатым торговцем Джоном Алланом. После учебы в Англии (1815–1820), а затем в одном из престижных колледжей Вирджинии поссорился с приемным отцом, обвинившим его в «беспутной» жизни и потребовавшим найти доходное дело. Юноша сбежал из дому, записался в армию и опубликовал за собственный счет первый поэтический сборник, «Тамерлан и другие стихотворения» (1827). В 1829 году поселился у одной из своих неимущих тетушек, Марии Клемм, и женился на ее четырнадцатилетней дочери. В том же году опубликовал второй поэтический сборник, «Аль-Аарааф».

В 1831 году По отказался от карьеры военного, начав писать и публиковать свои рассказы, новеллы и поэмы. В 1833 году получил премию за «Рукопись, найденную в бутылке», сделавшую его известным в литературных кругах Балтимора и побудившую и дальше идти по избранному

пути. Он работал в целом ряде газет, продолжая публиковать свои рассказы, новеллы и поэмы («Лигейя», «Падение дома Эшер», «Золотой жук»). Испытывая нужду и лишения, он жил с Марией Клемм и женой Вирджинией, которая в январе 1847 года скончалась от туберкулеза…

В январе 1845 года По опубликовал поэму «Ворон», принесшую ему первый значительный успех; но, сломленный годами скитаний и опустошенный смертью Вирджинии, Эдгар Аллан По вновь стал искать забвения в алкоголе.

7 октября 1849 года он умер в больнице от приступа белой горячки, незадолго до смерти написав ряд своих самых трогательных произведений, в т. ч. «Улялюм» (1847) и эссе под названием «Эврика» (1848).

Влияние Эдгара По в мире было и остается весьма значительным. Его авторитет не ограничивается одной лишь литературой, распространяясь и на другие виды искусства, такие как музыка и кинематограф, вплоть до науки. Несмотря на то что он был американским литератором, в первую очередь его признали и стали яростно защищать французские собратья, такие как Бодлер и Малларме. Нынешние критики относят его к числу наиболее примечательных представителей аме-

риканской литературы XIX века.

Библиография

* «Тамерлан и другие стихотворения», 1827.
* Стихотворения, 1831.
* «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», 1838, единственный роман По, перевод Шарля Бодлера.
* «Ворон и другие стихотворения», 1845.
* «Философия творчества», 1846.

«Гротески и арабески» (1839), переведенные Шарлем Бодлером и вышедшие в свет в виде следующих сборников.

«Необыкновенные истории»
— «Похищенное письмо»
— «Золотой жук»
— «История с воздушным шаром»
— «Морэлла»
— «Лигейя»
— «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля»
— «Рукопись, найденная в бутылке»
— «Низвержение в Мальстрем»
— «Правда о том, что случилось с месье Вальдемаром»

— «Месмерическое откровение»
— «Воспоминания г-на Огюста Бельдоу»
— «Метценгерштейн»

«Новые необыкновенные истории»
— «Демон извращенности»
— «Черный кот»
— «Вильям Вильсон»
— «Человек толпы»
— «Сердце-изобличитель»
— «Береника»
— «Падение дома Эшер»
— «Колодец и маятник»
— «Прыг-скок»
— «Бочонок Амонтильядо»
— «Маска красной смерти»
— «Король Чума»
— «Черт на колокольне»
— «Знаменитость»
— «Четыре зверя в одном»
— «Разговор с мумией»
— «Могущество слова»
— «Разговор между Эйросом и Хармионой»
— «Тень. Парабола»
— «Тишина»
— «Остров феи»
— «Овальный портрет»

«Истории гротескные и серьезные», 1839

— «Тайна Мари Роже»

— «Шахматный аппарат доктора Мельцеля»

— «Элеонора»

— «На стенах Иерусалимских»

— «Ангел Необъяснимого. Экстраваганца»

— «Система доктора Смоля и профессора Перро»

— «Поместье Арнгейм»

— «Коттедж Лэндора»

— «Философия меблировки»

— «Генезис поэмы»

Шарль Бодлер (1821–1867)

Родился 9 апреля 1821 г. в Париже. Матери, Каролине Аршембо-Дюфе, тогда было 27 лет, отцу, Жозефу-Франсуа Бодлеру, — 62 года.

Когда скончался отец, Шарлю было всего шесть лет. Год спустя мать вторично вышла замуж за командира батальона, чего Шарль никогда ей не простит, ведь этот человек в его глазах воплощал собой препятствия на пути ко всему, что было дорого его сердцу: к поэзии, к мечте, к безоблачной жизни.

В 1841 г. отчим решает отправить его в путешествие по Индии. Домой Шарль возвращается

погрязшим в долгах франтом и с 1842 г. живет в нужде. Именно в этот период он начинает сочинять несколько стихотворений, впоследствии вошедших в сборник «Цветы зла».

В 1847 г. Бодлер впервые открывает для себя «Черного кота» По, переведенного на французский Изабель Менье. Ближе к концу 1851 г. он приступает к поискам документов касательно жизни и творчества По и пишет труд «Эдгар Аллан По, его жизнь и творения», опубликованный в «Ла Ревю де Пари» в марте — апреле 1852 г. Затем собирает материалы, которые По публиковал в газете «Саузен Литерари Мессенджер» с 1834 по 1837 г., и пишет вторую статью: «Эдгар По, его жизнь и произведения».

31 августа 1867 г. Бодлер умер в Париже от сифилиса, вопреки своему желанию так и не успев осуществить окончательную публикацию «Цветов зла», ставших трудом всей его жизни.

После смерти Шарля Бодлера, поэта противоречивого и при жизни подвергавшегося жесточайшим нападкам, стали чествовать, называя «истинным Богом» (Рембо), «первым сюрреалистом» (Бретон), «самым значимым поэтом» (Валери), «величайшим архетипом поэта мировой современности» (Томас Элиот).